Анна Ахматова

ЭЛИЗАБЕТ БАРИЙЕ

Ахматова и Модильяни

Предчувствие любви

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта история началась в далеком 1910 году в Париже, где бурлила жизнь, где в кафе на Монмартре собирались и горячо спорили об искусстве те, кто потом составит славу мировой литературы и живописи.

Именно здесь впервые встретились юная Анна Ахматова и Амедео Модильяни. Именно здесь начался их роман. Роман необычных людей – она красавица с гордым профилем, которая не сомневается, что станет известным поэтом. Он – молодой, порывистый, чья жизнь уже отдана искусству.

Элизабет Барийе рассказывает красивую историю любви двух талантливых людей. Возможно, не все детали, ею описанные, достоверны. Но как же хочется верить, что все это было на самом деле!

- Элизабет Барийе
  -
  - Узнавание
  - Встреча
  - Ожидание
  - Новая встреча
  - Надежда
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61

Элизабет Барийе
Ахматова и Модильяни. Предчувствие любви

…все, что происходило, было
для нас обоих предысторией нашей жизни:
его – очень короткой, моей – очень длинной.
Дыхание искусства еще не обуглило,
не преобразило эти два существования,
это должен был быть светлый,
легкий, предрассветный час.

Анна Ахматова

То, что я любил, сохранил я это в себе или нет, я буду любить всегда.

Андре Бретон

Élisabeth Barillé
UN AMOUR A L'AUBE
© Editions Grasset & Fasquelle, 2014
© Петрова Ася, перевод на русский язык, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Узнавание

Голова женщины, известняк, 64 см, выполнена примерно в 1910–1912 годы. Подпись: Модильяни. Аукционный дом «Кристис» зарегистрировал лот под номером 24 для парижских торгов 14 июня 2010 года, начальная цена – шесть миллионов евро. Модильяни ушел из жизни в тридцать шесть лет и оставил после себя только двадцать семь скульптур. Семнадцать из них хранятся в лучших музеях мира[1]. Десять скульптур по-прежнему пребывают в частных коллекциях. Произведение, представленное на аукционе, с 1927 года принадлежит Гастону Леви, основателю супермаркетов Monoprix, и выставляется впервые.

Появление в зале этой удивительной скульптуры лишает присутствующих дара речи. И действительно – какими словами встречать великое творенье? Как выразить свое отношение к его присутствию – неизбежному и случайному? «Инопланетянин, сфинкс и Богородица в одном лице», – сказал бы Бодлер нашего времени. Есть ли в зале хоть один Бодлер? Хоть один искатель вдохновения, поклонник невозможного и прекрасного? Или все сидящие на неудобных стульях – сплошные счетоводы, занятые оценкой в евро, в долларах, в фунтах, в швейцарских франках, в иенах, в юанях, в долларах США и Гонконга возможной прибыли, смысла вложения и целесообразности исполнения желания?

Начинаются торги, а в зале давящая тишина словно опутывает всех присутствующих, не дает вздохнуть. И с чем она связана – непонятно. Покупатели бледнеют, калькуляторы в их руках трясутся, пытаясь оценить бесценное. Некоторые, повесив нос, разочарованно капитулируют. Они думают – за их спинами невероятный везунчик, судьбоносный победитель. В лучшем мире он сможет построить на выигранную сумму целую больницу: 43 180 000 без налогов. Самые потрясающие торги во Франции, во всяком случае, что касается произведения искусства.

Я не была свидетельницей происходившего в зале, но как-то раз недавно я была у терапевта, а он на журнальном столике держал каталоги аукционов – наверное, считал, что это придает лоску, так вот, я прочитала на обложке одного из каталогов фразу, которая меня заворожила: «Всё – тайна».

Потому что я узнаю этот лоб, шею, профиль, я узнаю единственную и неповторимую женщину из плоти и крови. Эта женщина обладает телом, жизнью, историей, чья сила, как и у Модильяни, во многом выросла из трагедии. Я вдруг вспоминаю имя времен своей молодости, имя на кириллице, имя из русских и советских книг, привезенное во Францию издалека. В ту эпоху

разница между людьми могла воздвигнуть стену. В нашей семье сложилось иначе. Белая Россия моего дедушки, сосланного во Францию в 1920 году, делила одну крышу с советской, красной Россией, где та, которую мой дедушка имел безумство в 1963-м вывезти во Францию, чтобы жениться по православному обычаю, прожила пятьдесят лет. Маленькая Женя. Ребенок, родившийся при Николае II, юница при Ленине, зрелая женщина при Сталине и Хрущеве. Судьба подчинилась Истории, и, чтобы хоть как-то вписать ее в западную жизнь, понадобились чемоданы, тюки, набитые книгами, дорогими гравюрами, великими сочинениями, которые перетаскивали на своих плечах закаленные советские граждане.

Оригинальное звучание этой фамилии казалось мне не очень русским, скорее татарским; оно ассоциировалось у меня с дюнами, с пустыней, особенно когда я вслух его произносила.

Ахматова.

Ее имя даже не значилось в каталоге. И тем не менее его нельзя было произносить отдельно от имени скульптора, который мечтал стать великим и чьи работы выставлялись в Париже осенью 1912 года. Эксперт по продажам считал, впрочем, что высокомерная матрона, будто стоящая лицом к ветру, плод больного воображения художника. Автор каталога называет женщину дубликатом Нефертити. Могла ли я оспорить это клише?

Я решилась на это лишь 14 июля 2010 года, не в Париже, а в Санкт-Петербурге, точнее на Фонтанке, в Доме-музее Ахматовой. Надо же, столько раз побывать в России и ни разу до нее не добраться, думала я. Я шла по гранитной набережной, сверкавшей под каплями дождя; воспоминания смешивались с упреками: прекрасные книги в переплете, восторженный ребенок, затихший перед неведомыми страницами и странами, лицеистка, влюбленная в русский язык, потому что – так надо и она этого хочет. Я представляла двуязычное издание, купленное на улице дез Эколь, «Поэты Серебряного века» – неожиданный всплеск новых голосов в России 1900-х. Стихотворения Гумилева, ученые, загадочные; напряженный тембр Мандельштама; юношеские дерзкие стихи Ахматовой, ее горделивые элегии зрелого возраста. Анна-голубка, Ахматова-орлица. Героическая Анна Ахматова. Вспоминаю о ее горестях запрещенной поэтессы-затворницы, о ее материнских муках, о ее едкой иронии, о ее красоте, удивительной, одухотворенной красоте, перед которой недостатки – и кривой нос, и чересчур длинная шея – казались ничтожными. Высокомерная красота, дарованная свыше, великая красота, побеждающая всякую дисгармонию, – часть судьбы.

Квартиру Ахматовой на Фонтанке, в крыле Шереметьевского дворца, видно издалека благодаря гигантской фотографии Анны в платье в цветочек и с темным воротничком – на самом деле эта квартира никогда не принадлежала поэтессе. Советские власти предоставили жилье третьему мужу Анны – искусствоведу Николаю Пунину. Когда на заре отношений Анны и Николая весной 1925 года поэтесса въехала в квартиру, ей пришлось делить жилплощадь с бывшей женой и дочерью Пунина, которые занимали соседнюю комнату. Тогда Анна и не подозревала о том, что вынужденное соседство окажется более чем долгосрочным: после разрыва с Пуниным Анне было некуда идти в городе по имени Ленинград, прежняя его семья тоже съезжать не собиралась. В 1989 году, когда отмечали столетие Ахматовой, коммуналку превратили в музей, целиком и полностью посвященный поэтессе. Культовое место, подумала я, проходя по двору.

Я более или менее представляю себе, чего ждать: отполированного паркета, рукописей под стеклом и разных сентиментальных побрякушек, напоминающих нам о том, что вещи переживают людей. При входе мой взгляд не останавливается на вешалке со старым пальто и двумя несчастными ветхими шляпками, но не может оторваться от массивного телефонного аппарата, который Анна Андреевна, без сомнений, караулила день и ночь в надежде получить новости о сыне, заключенном ГУЛАГа, и лишь только раздавался звонок, она, едва сдерживая слезы, хваталась за трубку и вслушивалась в чей-нибудь враждебный голос.

Можно сфотографировать? Я купила правильный билет? Он годится для съемки? Нет, с ним разрешен только вход. В таком случае придется оставить камеру на дне сумки.

Круглый столик на высокой ножке, граммофон, плюшевый мишка, чернильница с высохшими чернилами, шаль с бахромой, секретер, набитый личными письмами. Я бродила из комнаты в комнату, от одного объекта к другому, и мысли мои не стоят на месте. Тщеславие бытия, бессмысленная вечность предметов, прекратившаяся вибрация переписки.

И вдруг – рисунок.

Вблизи видно, что копия.

Модильяни, и никто другой.

Портрет Ахматовой, выполненный знаменитым художником. О какой связи между Анной и Амедео он свидетельствует?

Я подошла еще ближе. Развевающиеся пряди, легкие, мягкие, как у ребенка, грациозно изогнутая шея – это изображение друга или возлюбленной?

Я должна это сфотографировать! Непременно! И, делая запретный кадр, понимаю, что во мне что-то произошло. Что именно? Не знаю. И не знаю, какая тайна снисходит на тишину зала аукционного дома в Париже на улице Матиньон.

Я закрываю каталог и чувствую шелковистое прикосновение загадочной страницы жизни. Увы, мне не хватает наглости, чтобы тихонько спрятать каталог в сумку. Я прикладываю ладони к щекам: они пылают. Затем слышу свое имя. Вскакиваю с места, люди тут же обращают на меня взоры, а мне хочется выкрикнуть: моя новая книга только что родилась!

Встреча

Двадцать первое января 1910 года, стрелки парижских часов останавливаются на 23:55. Парижане выходят из театров, баров и домов, куда им не следовало наведываться, начинают иронизировать над современными условиями жизни и так называемым комфортом. В домах еще горит свет. Вскоре их обитатели облачатся во фланелевые пижамы и уснут, не подозревая о наводнении, которое остановило работу завода по производству сжатого воздуха на набережной Панар-Левассёр. Невозможно представить себе изумление горожан, проснувшихся в окружении воды. Париж внезапно превратился в Венецию, правда, без гондол, зато с моторными лодками Berton, каждая на двенадцать человек. На всех лодок не хватает, депутаты как-то добираются до своих Палат, не намочив штаны, а вот беднякам приходится шнырять по пояс в грязной воде.

Вода прибывает каждый день, эвакуируют больных из Питье-Сальпетриер, заключенных Консьержери, но не жителей Ботанического сада; жираф обречен на смерть. Из двуногих за тридцать дней пала лишь одна жертва – молодой капрал, которого унесло течением, когда он спасал на своих плечах телеграфиста.

Работы по очистке улиц и подвалов длятся неделями.

Второго мая 1910 года, когда Анна Андреевна Гумилева – фамилия поэтессы с 25 апреля, – стуча каблучками, выходит на платформу Восточного вокзала, электричество восстановлено еще не всюду.

Потоп что-то уничтожил, сложно сказать что. Может, невинность, бездумную веру в прогресс. Парижане теперь глядят на Сену с содроганием, особенно когда над мостами собираются тучи: а вдруг комета Галлея станет причиной местного конца света? Ее ожидают в середине месяца. «Видевший Галлею не увидит жизни», – гласит пословица. С кометой связан целый ворох дурных предсказаний – и первое из них подтверждается падением Иерусалима в 70 году н. э. Какого еще бедствия ждать? Грозят ли чем-нибудь проливные дожди с громом и молнией, начавшиеся еще в конце марта? Газета «Ле Пети Паризьен» ничуть не стремится успокоить граждан: по всей видимости, приближается очередное наводнение?

Париж серый и мрачный. Водостоки начеку. Чудесный май начинается чудовищно.

Слышит ли молодая русская, как стучит по стеклянной крыше вокзала длинноволосый дождь? Или она охвачена лишь

нетерпением, предвкушением счастья?

«Я в Париже!»

И все вокруг это подтверждает: юбки короче, чем в Санкт-Петербурге, мягкая кожа сапожек и цветные чулки, смелые взгляды из-под густо накрашенных ресниц, румяные щеки, невероятные высокомерные в буквальном смысле шляпки. Шляпка Ахматовой, выбранная у лучшей модистки Киева, где после развода поселилась мама, выглядит провинциально. Надо будет от нее избавиться.

Такие мысли посещают ее, пока Николай Степанович Гумилев, Коля, как она его называет, отправляется протестировать свой французский в разговоре с носильщиком. Коля довольно хорошо говорит по-французски, никакой особой заслуги в этом нет – просто между 1906-м и 1908-м годами он часто жил в Париже. О столице ему известно все – по крайней мере, так он утверждает, – чтобы с комфортом передвигаться по городу, ходить в музеи, не рискуя наткнуться на закрытую дверь, вкусно и недорого обедать, не поддаваться на ухищрения продавцов, правильно себя вести с носильщиками и элегантно завязывать галстук. Анна спокойна – Коля договорится о том, как взять такси и довезти вещи.

Она размышляет обо всем, что ее ждет.

В поезде молодожены составляют список достопримечательностей, которые стоит посмотреть в первую очередь: дворец Трокадеро на холме Шайо, базилику Сакре-Кер и Монмартр, Эйфелеву башню, разумеется, ведь у нее с Анной один год рождения – 1889-й, Большие бульвары вокруг Оперы Гарнье, Булонский лес – все самое великолепное, с точки зрения Коли. Анна очень хочет попасть на улицу Отфей. Там ведь родился Бодлер? А где его могила? Поэтесса хочет положить на могилу Бодлера черную розу.

Черную розу!

Коля смеется.

Эту розу придется окунуть в чернила или дождаться темной-темной ночи.

* * *

«Цветы зла». Позже Ахматова скажет, что прочла сборник по-французски в тринадцать лет.

Так ли это?

Знаменитости всегда лгут – это им либо выгодно, либо приятно.

Тринадцатилетие Ахматова отметила в июне 1902 года недалеко от Санкт-Петербурга, в Царском Селе. Этот маленький городок гордится тем, что здесь находится любимая резиденция царя, элегантный Александровский дворец, построенный Джакомо Кваренги, архитектором Екатерины II, в английском парке, усеянном бесчисленными прудами. Николай II так заботился о спокойствии своей семьи, что иногда даже пренебрегал обязанностями монарха, чтобы провести больше времени в Царском Селе. Вокруг дворца устраивает жизнь целая плеяда рантье, чиновников, офицеров на пенсии. Возможно, Андрей Горенко с семьей поселился рядом с Александровским дворцом, надеясь восстановить свою репутацию? В 1887 году его подозревали в предательском заговоре с неким лейтенантом, объединявшем противников Николая: Горенко потерял должность инженера императорского флота и опустился до обычного чиновника – невероятный поворот событий, особенно для тщеславного хвастуна и нарцисса, одержимого всеми женщинами на свете, кроме собственной жены. Об Инне Горенко, урожденной Строговой, об этой чудесной матери, открыто и бессовестно преданной тысячу раз, Анна Ахматова высказалась довольно туманно: Инна трогала своей мечтательностью, раздражала неорганизованностью, неспособностью пришить пуговицу или приготовить элементарную еду. Анна выросла в квартире, где не было книг и никто никого не любил.

Андрей и Инна Горенко никогда не читали – подобный отказ от литературы для русской буржуазии, даже небогатой, в принципе казался довольно редким явлением. Правду ли говорит Ахматова, утверждая, что в родительской гостиной видела книгу лишь однажды? Кстати, это был сборник «поэта-гражданина» Некрасова, реликвия для Инны, которая получила книгу в подарок от своего первого мужа, покончившего жизнь самоубийством. Впрочем, и эту книгу, Некрасова, мать Анны Андреевны открывала лишь по особым случаям.

Представляешь себе иконы в свете ночников, бормочущую молитвы служанку, нервного отца, который не может полностью дать волю своим донжуанским стремлениям, четырех девочек и двух мальчиков, раскрасневшихся от слишком горячей ванны, и мать, которая не в силах управиться с этим маленьким миром – воплощением печальной судьбы народа, описанной в стихах Некрасова.

Анна смотрит на мир шире. В ней бурлит энергия. Она с нетерпением ждет чего-то нового, но не знает чего. Думает о Пушкине, о его лицейских годах в Царском Селе. Проходя мимо памятника Пушкину, Анна вся дрожит в предвкушении – она

уверена, что однажды станет поэтом. Уже девочкой Ахматова обладает удивительным чутьем и собственным видением красоты. Красота освобождает и воодушевляет. Анна представляет себе тяжкий грохот волн Черного моря, у берегов которого ее семья отдыхает во время каникул; о невероятном наслаждении в одиночестве гулять по пляжу в Евпатории и чувствовать, как ветер продувает все тело и забирается под платье, а там – никакого нижнего белья!

«Однажды я стану поэтом!» – повторяет она, сжав кулаки.

Другими словами: «Я стану свободной!» Анна родилась в 1889 году, то есть в XIX столетии, когда женщины были вынуждены подчиняться правилам, вписывать себя в соответствующие рамки. Впрочем, такая ситуация продлится не слишком долго. Но Анна Андреевна заранее готовится к бою. Свобода не стрекоза, которую можно ухватить за крылья на какой-нибудь тростинке, она скорее – хищник, затаившийся в тени раскидистого дерева. Свободу надо заслужить и выцарапать когтями.

Анна делает все, что вздумается. Лазает по деревьям, учится свистеть, уверяет, что гадюки кажутся ей привлекательнее птичек. Она не желает походить на кисейных барышень, как ее сестры. Перед зеркалом она задерживается лишь для того, чтобы декламировать стихи. Как превратиться в Пушкина? Наверное, нужно изолировать себя от всех и читать-читать-читать, затачивать ум, как нож.

Анне хочется прочесть самые опасные, запрещенные, проклятые книги. В царской России, где власть принадлежит полиции и цензуре, подобные книги есть; Николай II причислил к таким сочинениям, например, «Саломею» Оскара Уайльда, переведенную на русский язык Константином Бальмонтом, главой символистов в Москве. Где же эти страшные книги? Точно не дома. Чтобы отыскать их, придется покинуть Царское Село. А пока надо узнать, кто ты есть, чего хочешь, – и держаться за это знание.

Тем временем в том же маленьком городке другой одиночка внушает себе то же самое. Его зовут Николай Степанович Гумилев. Этого хмурого ученика императорского лицея можно опрометчиво принять за скромника и тихоню. Однако он тот еще наглец – имеет собственное мнение обо всем и ставит Бодлера выше Пушкина.

* * *

Бодлера узнают в Петербурге к 1900 году. Первые переводчики «Цветов зла» – поэты. Петр Якубович, близкий к кругам анархистов, публикуется под псевдонимом, дабы избежать цензуры. Иннокентий Анненский цензуры не боится. Его называют «русским Малларме», он невероятно скрытен, перед коллегами делает вид, будто только преподает древние языки, но на самом деле пишет стихи в духе парнасцев и манипулирует словами как волшебник. В 1903 году он становится директором императорского лицея в Царском Селе. Как Гумилев привлек внимание Анненского? Может, дал почитать свои стихи, и переводчик «Цветов зла» тут же распознал юный талант и своеобразный голос?

Известно одно: Гумилев по совету Анненского читает Бодлера. «Бодлер, – объясняет переводчик-педагог, – это анти-Некрасов, Бодлер не привязывает стихи к событиям, у его поэзии нет причины или четко заданной цели, и это очень правильно, ведь у поэзии никогда нет ни цели, ни правды, у поэзии есть только она сама. И только тогда, когда поэзия сама себе правда, и цель, и вызов – только тогда она обладает силой молнии и способна рассекать камни».

– И как же достичь такой мощи? – спрашивает ученик.

– С помощью беспрерывной работы над формой, – отвечает художник под маской учителя.

– Константин Бальмонт и Валерий Брюсов это делают, – замечает Гумилев, называя имена своих любимых поэтов.

Анненского Бальмонт и Брюсов раздражают, он не терпит спиритуализма, оккультизма и декадентства, которыми московские гении так увлечены.

– Русские символисты слабы, поскольку предпочитают добыче – иллюзию, тень, химеру. Добыча есть схваченная стихом истина. Если видеть лишь тени и культивировать лишь туманные ассоциации, потеряешь и читателей, и себя самого. Добыча – это реальность, – настаивает Анненский. – Поэт должен ухватить реальность идеально ловким движением звука.

Так говорил первый русский переводчик Бодлера со своим учеником.

Спустя семь лет в поезде по дороге в Париж этот ученик, ставший мужем, с высоты своего литературного опыта, сосредоточенного в двух уже опубликованных стихотворных сборниках, обращал слова Анненского к своей жене: быть поэтом – значит охотиться. Если хочешь оказаться в одном ряду с Пушкиным, Бодлером и со мной, будь безжалостной к языку. Прицеливайся, подобно охотнику, и убивай.

* * *

Шофер такси из недавно основанной парижской компании высаживает пару на улице Бонапарт, напротив дома № 10. Сена в двух шагах. В 1910 году издатели открыток делали отличные январские фотографии половодья, на одной из них как раз улица Бонапарт, по которой можно смело плавать на лодке. Дом № 10 двухэтажный и с виду мрачноватый – многие старые парижские дома, повидавшие на своем веку и огонь, и воду, производят такое впечатление. На первом этаже – мужское ателье. Пансиону «Флоркен» принадлежат антресоли и четыре комнаты на втором этаже с раковиной и биде. Туалеты – общие, на лестничной площадке, «по-турецки», как часто бывает в старых парижских домах.

В Париже всегда хочется идти в ногу со временем. Конечно, есть и поверхностный Париж, город удовольствий, вечного праздника, ослепительный и ослепленный роскошными отелями в бесчисленных огнях. Но есть и другой Париж – город холмов и зеленых парков, художественных мастерских под самыми крышами или в холодных подвалах – такой Париж одной ногой еще стоит в прошлом столетии.

В начале новой эры далеко не все парижане имеют удовольствие наслаждаться прелестью сточных труб, изобретенных еще римлянами. По ночам цистерны, запряженные лошадьми и снабженные помпами, освобождают город от нечистот.

Приехать в Париж замужней и переполненной ожиданиями; провести первую ночь без сна; чувствовать, как в ноздри врывается зловонье; вскочить с постели, где спит или притворяется, что спит, супруг; согнуться над подоконником, едва сдерживая тошноту; увидеть цистерны каштанового и желтого цвета, лошадей, таких же усталых, как в России; выйти на лестничную площадку; толкнуть плохо закрытую дверь туалета; ощутить сомнение перед цементными выступами в виде подошв; разозлиться на себя за брезгливость. Ожидание, одиночество, стыд – испытывать все это, но дрожать в предвкушении будущего и повторять себе как заклинание: добыча – это истина, это реальность, поэт должен ухватить реальность идеально ловким движением звука.

Поэзию питает все.

Первая парижская ночь, конечно, связана для супругов с чувством стыда, в котором ни один из них не признается другому, хотя мог бы. Лежащие на двух половинках постели могли бы открыться друг другу, потому что поняли бы друг друга, но

каждый из них корит себя за стыд. Банальный стыд – в Царском Селе на него не обращали внимания: бедность, нехватка средств для удовлетворения всех желаний и предлагаемых столицей удовольствий, для использования всех ее возможностей. А ведь многие русские в Париже вели шикарную жизнь – например, Сергей Дягилев, волшебник балета, организатор «Русских сезонов» в Париже, щедрый завсегдатай ресторана «У Прюнье»; или Сергей Щукин, чей московский дом сравним с царским дворцом. Каждый раз, приезжая в Париж, богатый купец обходит картинные галереи на Правом берегу и за огромные деньги сметает Моне, Ренуара, Матисса, Пикассо – глаз у коллекционера уже наметан.

* * *

О чем думать, если не спится? Вспоминает ли Анна свою свадьбу в Киеве? Он – сияющий, она – вся в себе и бледная, словно ее ведут на казнь. Прекраснейший день в жизни? Не для нее. Ни братья Анны, ни сестры не приехали на церемонию; отец тоже якобы приболел. Семья Горенко считала невероятным легкомыслием стремление Анны связать себя узами брака с нелюбимым человеком, Николаем Степановичем Гумилевым, сыном Степана Яковлевича Гумилева, в прошлом военного врача в Кронштадте. Почему девушка вышла замуж за Гумилева, хотя любила другого? Ради того чтобы забыть краснобая, доставлявшего страдания? От усталости? Дабы покончить с напрасными клятвами, глупыми ссорами, шумными примирениями, которые вынимали всю душу и длились годами? Или, может, Анна хотела доставить радость Гумилеву? «Он до смерти меня любит», – сказала она одному из родственников, а другому призналась: «Коля практически взял меня измором». И шантажом: дважды во время поездок во Францию, когда от Анны не было вестей, Гумилев грозился покончить с собой, дважды он не сумел это сделать. Вышла ли она замуж из жалости или от страха прожить жизнь впустую? Провинциальная жизнь угнетала: рантье в допотопных нарядах, узколобые барышни, оплакивающие жизнь, еще не начав жить. Ответила ли Анна «да», чтобы сбежать от чеховской рутины Царского Села? Незадолго до свадьбы в письме к родственнику Анна выразилась так: «Я выйду замуж за друга детства, Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и думаю, моя судьба – быть его женой». Ей не хватило честности прибавить «и быть признанной как поэтесса». Коля сильно опередил Анну на пути к творческому

успеху. Вышла ли она замуж, потому что Гумилева уже приняло литературное общество Петербурга и Анна надеялась, что ее шансы утвердиться в роли поэта на берегах Невы вырастут?

Воспоминания уносят Анну еще дальше в прошлое. Зима 1903 года, канун Рождества, их первая встреча под горчичного цвета арками Гостиного двора – своего рода Галереи Лафайет Санкт-Петербурга. Она была с подругой своего возраста, он – с молодым человеком, старшим братом, которому уступал в росте и вообще в привлекательности. Что она там хотела купить? Ах да! Гирлянды на елку. А он что хотел? Видимо, пострадать в очередной раз. Что он заметил в ней? Может, слишком серьезный взгляд? Тонкую талию, какие редко бывают у четырнадцатилетних подростков? Гумилев был старше Анны на три года. «Я сейчас в возрасте Рембо, когда тот написал «Пьяный корабль», – взволнованно сказал Коля чуть позже, но его эмоциональность показалась Анне неуместной и нелепой, как и он сам: голова в форме яйца, шаровидные глаза, косоглазие, тягучий голос. Неужели он не слышит, как шепелявит? Робкий и высокомерный одновременно. Невыносимый мальчик. Анна демонстрирует ему свое равнодушие. В четырнадцатилетнем возрасте люди умеют быть по-настоящему жестокими. «Отлично, я избавилась от него», – думает Анна. Не тут-то было. Гумилев воспылал чувствами к этой ледышке.

* * *

Каждый человек обладает уникальной способностью страдать. Некоторые умеют не расходовать свой запас страданий, не погружаться в них с головой, не терять себя; другие не умеют, они отдаются страданию без остатка, упиваются страданием, открывают ему свою душу и наполняют ее слезами. У таких людей ласки всегда сопровождаются криками, объятия – рыданьями. Два лагеря: тех, кто кровоточит, и тех, кто заставляет кровоточить, – противостоят друг другу, но всегда нуждаются друг в друге; эта нужда зовется страстью – благодаря ей мужчины и женщины предаются любви, а затем всё разрушают, прекрасно понимая, в чем состоит природа разрушительной силы. Сарабанда меча и крови звучала в 1903 году, когда Анна встретила Колю. Сначала Анна была отрицательной героиней. *Оттого, что я терпкой печалью / Напоила его допьяна*[2], — гласит одно из ранних стихотворений. Затем кинжал перешел в другие руки. Женившись на принцессе, Коля освободился от нее. Ему хотелось нравиться женщинам. Его странность вызывала интерес

– он это знал и пользовался этим.

В Париже, который угнетал в тот период постоянными грозами, расклад сил поменялся и равновесие нарушилось. Десятилетия спустя в беседе с Лидией Чуковской Ахматова признается: «Мы были помолвлены слишком долго (…). Когда в 1910 году мы поженились, Коля уже лишился прежнего энтузиазма».

* * *

Стоило обзавестись муслиновыми платьями, платками, перчатками и шарфиками, как понадобились зонтики, причем в большом количестве – потоп разыгрался не на шутку. Хорошо, что, избавляясь от влюбленности, люди становятся практичными. Русской молодой паре вовсе не хочется петь под дождем. Парижанам, впрочем, тоже. Ученые обсерватории сообщают о том, что комета летит к Земле со скоростью тридцать тысяч километров в день и заденет ее лишь слегка, поэтому всем любопытным, которые полезут на крыши лицезреть спектакль, чей следующий показ намечен через семьдесят пять лет, лучше надеть очки; продавцы сплетен предрекают катастрофу, удушающие газы, те самые, от которых погибли жители Помпей; а кроме того, конечно, следует ждать волны самоубийств и страшного вандализма, как в 451 году, когда комета Галлея прошла за несколько недель до появления армий Аттилы.

Конец света не за горами.

Однако в доме № 10 на улице Бонапарта новые жители пансиона «Флоркен» заняты совершенно другими мыслями. Анна настаивает на покупке двух зонтиков; Коля изучает возможные способы добраться до музея Клюни и его Терм. Он не забыл ни огромный красный гобелен, которым любовался в свой первый приезд в Париж в 1906 году, ни странную боль, возникшую во время созерцания тихой красоты Дамы с единорогом, вставшим на задние ноги, подобно цирковому животному. Гумилеву тогда показалось, что он точь-в-точь как единорог, нелепое существо в полном подчинении у сирены. Оцепеневшее ручное животное, готовое выполнить любой приказ жестокой девочки, – таким был поэт четыре года назад.

* * *

На улице Кампань-Премьер, недалеко от «Бон Марше», где

двое элегантных и растерянных иностранцев изучают отдел аксессуаров, некий мужчина вырывает из блокнота, который всегда носит с собой, листок: «Комета еще не прибыла. Ужасно. Я, конечно, увижу тебя в пятницу. Нет сомнений в том, что мы умрем».

Мужчина складывает листок вчетверо, просит конверт у женщины, которая только что поставила перед ним бокал красного вина. Женщина немолода, но мужчина обращается к ней как к королеве, и, подобно королеве, она язвительно отвечает по-итальянски, что держит не канцелярский магазин, а лучшую и самую дешевую на Монпарнасе закусочную. Женщину зовут Розали, а закусочная, бывшая молочная лавка[3], в доме № 3 по улице Кампань-Премьер, – ее королевство. То и дело сюда наведываются разные плуты, чьи желудки она ублажает пастой болоньезе и оссобуко[4]: русские, поляки, чехи, венгры, требовательный румын, пузатый мексиканец, который не стесняется ущипнуть ее за бочок с тех пор, как от кого-то узнал, что она позировала Кабанелю[5] и Бугро[6] обнаженной, ну, или почти. На нескольких хороших парней, платящих наличными, – вроде одного японского художника, чистенького и одетого с иголочки, – приходится целый батальон бедняков, которые рассчитываются собственными полотнами.

Мужчина достает карандаш – у него их целая коробочка, – вырывает из блокнота еще один листок, а дальше – пальцев уже не видно, видны только линии, растущие и сопрягающиеся. Сначала нос, потом глаза, рот, овал лица, определившийся одним штрихом! Все действо напоминает танец, какую-то магическую пляску, мужчина словно забывает обо всем и на волнах собственного виртуозничества уносится в далекий мир, известный лишь ему, возвращение из которого знаменует подпись: Commediente l’Amedeo.

Женщина не хочет брать рисунок, но мужчина повторяет, что это подарок, что она его заслужила, что без чудо-спагетти прекрасной Розали он, возможно, уже покинул бы этот мир. Слова произнесены с легкой усмешкой и в то же время с жаром и немного смущенно, с невероятным обаянием, свойственным ему одному. Женщина молча берет рисунок, затем исчезает на кухне, откуда сильно пахнет мясом, и возвращается с конвертом в руках.

Мужчина поворачивает конверт, замечает на нем пятнышко, колеблется. Ему неловко, и одновременно он укоряет себя, словно за недостойное поведение. Любить народ не значит быть его частью. Мужчина разглаживает конверт. Пишет адрес карандашом: Полю Александру, улица Дельты, дом № 7, 18-й округ. Париж.

* * *

Улица Дельты тянется от улицы Фобур-Пуассоньер до улицы Рошешуар. Главное – сохранять трезвость рассудка: шанс полюбоваться фаланстером «доктора Александра», друга, единомышленника, первого коллекционера Амедео Модильяни, почти нулевой. Уже в 1910 году виллу собирались сровнять с землей. На открытке тех времен дом еще цел, но выглядит полуразрушенным и застекленными дверьми-окнами выходит на пустырь. Что осталось от этой богемы?

Ничего.

Забавная, однако, деталь: в доме № 7 на улице Дельты теперь центр приема иностранцев, прикрепленных к полицейскому участку 9-го округа. Наверняка это идея призраков. В частности, конечно, Поля Александра.

* * *

Я сын богатого аптекаря из 16-го округа. Мне двадцать шесть лет, хотя на вид больше – может, меня старит бородка или мешки под глазами. Я учился у иезуитов и стал дерматологом, чтобы отец не беспокоился о моих финансовых делах, у меня манеры моего круга и соответствующие возможности, однако меня влечет к свободным бесшабашным людям, чьи умы исполнены фантазий и надежд. Я никогда не стану художником – разве что рукой помощи, которая его поддержит, знатоком, который его защитит, другом, который приютит. Итак, я открыл свой диспансер в доме № 62 по улице Пигаль на Монмартре, затем арендовал небольшой двенадцатикомнатный особняк на улице Дельты. Городские власти Парижа собираются вскоре его снести, но какая разница? Место мне по душе, скоро оно превратится в оазис свободных умов. Искусство и свобода – единственная религия Дельты, об этом, конечно, судачат, шепчутся, говорят, наши женщины ведут распутный образ жизни; и правда, Раймонда, славная подруга Мориса Друара, скульптора, по субботам веселит нас, танцуя в одних туфельках. Абсент, опиум и кокаин, разумеется, причина некоторых беспорядков. Я предпочитаю гашиш, впрочем, употребляю его в умеренных количествах и весьма осторожно. Помню, однажды мы с моим братом Жаном приняли гашиш вместе с Идой Рубинштейн на втором этаже особняка «Мерис», где она обосновалась к 1910 году. Звезда русского балета впала тогда в какое-то восторженное безумие. Мы с Жаном возвращались на Монмартр по набережным. В ночи на небе

звезды сияли нам, словно ноты на воображаемой партитуре. А деревья цвели фейерверками.

Эту потребность в феерии мы все удовлетворяли на улице Дельты.

Модильяни появляется там в ноябре 1907 года. К тому времени он уже год как живет в Париже. Он приезжает на автомобиле с площади Жана-Батиста-Клемана, из дома, откуда его выгнали. За рулем дама, одетая с иголочки, Мод Абрант, американка. За машиной следует двуколка, набитая книгами, рисунками и тряпьем. Я предлагаю Модильяни комнату на втором этаже. Он отвечает, что ему достаточно угла, чтобы работать и разместить полотна. На улице Коленкур их ждут в отеле. Очевидно, за отель платит мадам. Мадам богата, и у нее хороший вкус, а более обаятельного типа, чем этот сумрачный художник, не найти.

Пожмите человеку руку, и вы поймете, чего он стоит. Я сразу смекнул, с кем имею дело. Бодлер говорит о «чрезмерном достоинстве» – это и про Модильяни. Мне не терпится увидеть его полотна, он не заставляет себя долго упрашивать и показывает картины, не ожидая с моей стороны одобрения. Однако я с первого взгляда отмечаю его невероятный дар. И говорю ему об этом, он отвечает, что только мне и по душе его работы: с тех пор как он приехал в Париж, не нашлось ни одного покупателя.

* * *

Однажды Пол Боулз сказал французскому журналисту, который явился взять у него интервью в Танжере: «Быть счастливым легко, если довольствуешься малым». Но как художник может довольствоваться малым?

Я пишу эти строки, сидя перед портретами Николая Гумилева, Анны Ахматовой и Амедео Модильяни. Фотография Модильяни датируется 1906 годом – именно тогда он переехал в Париж, две другие фотографии – 1910 года.

Гумилев готовился к фотосессии словно к свиданию с любимой женщиной. Продумал каждую деталь: целлулоидный воротничок, высокий и крепкий, как подбородник рыцарского шлема, словом, соответствующий канонам дендизма, усы, подстриженные специальными мини-ножницами. Плюс идеальная соломенная шляпа-канотье.

Как мы заметили выше, природа Гумилева не пощадила. Фотограф попросил поэта слегка повернуть голову и посмотреть на противоположную стену, где, очевидно, висел откровенный

снимок. Гумилев зажался еще больше, чем изначально, и решил, наверное, подумать о чем-то возвышенном, но это не помогло, а лишь зафиксировало выражение лица.

Сложно себе представить более высокомерного парня, чем этот пижон, но высокомерие лишь доспехи, к тому же нравиться всем все равно что нравиться кому попало.

Когда Модильяни отправляется к фотографу в квартал Мадлен, бросив багаж в довольно приличном отеле недалеко от улицы Тронше, выглядит он превосходно: гардероб еще не изношен, и художник похож на настоящего эпатажного молодого буржуа из Ливорно. В этом году Блез Сандрар[7] встретит «веселого, красивого, божественно красивого молодого художника, одетого в итальянском вкусе и словно только что из модного магазина». Габардиновый плащ с вышивкой ручной работы, подчеркивающий талию, навсегда останется в памяти писателя, который уже в 1917 году, облачившись в белую рубашку и черный галстук, будет позировать Модильяни.

Этот ли самый плащ художник накинул на плечи? На фотографии скорее пальто с широкими лацканами. Наверное, время съемки – зима, потому что под пальто темный костюм, увенчанный галстуком-бабочкой. Фотограф, явно под впечатлением от неземной красоты, решил сделать портрет в фас. Адонис тут же принял нужную позу: одна рука на колене, другая в кармане пиджака. Раскованность мужчины, обласканного женщинами. Вот что значит художник.

На самом деле выражение лица предельно серьезное. Это выражение лица человека, который не изменяет своей звезде. О природе собственной решительности Модильяни сказал своему другу художнику Оскару Гилья так: «Твоя задача не принести себя в жертву, а спасти свою мечту…»

Спасение мечты – экстремальный вид спорта.

Итак, Модильяни сосредоточен, словно атлет, собирающийся забраться на вершину самой высокой скалы благодаря ловкости и силе рук.

И в то же время вид у художника естественный и непринужденный. Он само воплощение молодости.

Серьезность, красота, истинная красота, которая волнует, парализует, видна и на фотографии Анны Ахматовой, сделанной вскоре после ее свадебного путешествия. Высокий лоб притягивает свет, который озаряет матовую копну волос. Рот будто скрывает тайную боль. Куда устремлен этот затуманенный взор? Думает ли Анна о навсегда потерянном счастье? Или о желанном величии?

Снимите дорогую кружевную блузку и миленький жакет –

перед вами предстанет девушка, жаждущая взорвать Вселенную ради созерцания рая.

* * *

Красивые люди притягиваются. Они не всегда бывают идеальными любовниками, но красота, выделяющая их на фоне всех смертных, словно цемент, неразрывно соединяет их. Когда я вижу три портрета в одном ряду, я ощущаю кисловатый привкус очевидности, точь-в-точь как при просмотре бульварной пьесы, где с первого акта знаешь развязку: денди, онемевший от неловкости, итальянец, готовый поделиться красотой со всем миром, и поэтесса, похожая на строгого ангела, – кости брошены.

* * *

На выставке Независимых художников[8] в марте 1910 года, за два месяца до приезда Анны Ахматовой в Париж, Модильяни выставляет шесть работ: «Виолончелист», «Лунный свет», два этюда, один из которых – портрет маслом Пикмаля, «Нищий из Ливорно», «Нищенка». Гийом Аполлинер назовет имя художника в своей хронике в ежедневной газете «Интранзижан», Андре Сальмон расскажет о Модильяни в «Пари Журналь». Но и это не сработает. Модильяни не продается.

Поль Александр тем не менее не отчаивается, считает Амедео «Принцем Богемы», художником, чья единственная религия – вера в себя, человеком, которого беды не одолеют, ибо он велик, пусть удача отвернулась, от судьбы не уйдешь. Модильяни и Поль Александр вдвоем исследуют галереи Правого берега. У Воллара друзья не могут оторваться от работ Пикассо «голубого периода», у Канвейлера[9] – от «маленьких кубов» Брака. Никто не в силах, однако, превзойти Сезанна.

На этого жителя Экс-ан-Прованса, ушедшего из жизни в возрасте шестидесяти семи лет в родном городе, Модильяни во многом ориентируется – на его понимание объемов и форм, легкости материи, на гармоничность планов. Если Амедео и считает кого-то, помимо итальянских художников, своим учителем, то, конечно, Сезанна. Экстаз в галерее Бернхейма перед полотном «Мальчик в красном жилете»[10]. Репродукция картины на открытке всегда у Модильяни в кармане.

Что еще ему нравится? Театры теней, фейерверки, кривые зеркала, циркачи. Стеклянный лабиринт театра Гэтэ-Рошешуар

завораживает его не меньше, чем негритянские маски в галерее Джозефа Браммера. Таможенник Руссо[11], картинки, продаваемые в арабских лавках за площадью Клиши, ангкорские[12] и камерунские статуэтки божков в музее Трокадеро[13], амулеты из Конго: каждая вещь – сокровище для глаза художника.

Модильяни работает днем и ночью. Творить – его потребность, разрушать – страсть. Поль Александр умоляет его не сжигать альбомы, пытается отыскать для него моделей. Малышка Жанна, которую Александр лечил в своем диспансере на Пигаль и, однако, не смог заставить уйти с улицы, позирует для великолепного полотна «Ню стоя». Поль Александр также покупает одну из картин, написанных в 1908 году. Повесив картину Модильяни «Еврейка» на голую стену дома на улице Дельты, коллекционер нарушил обещание о беспристрастности, данное друзьям. Однажды вечером все много выпивали и дело дошло до драки; Модильяни в порыве гнева разбил скульптуры другого протеже Александра.

Коллекционер, однако, не лишает Амедео доверия, а наоборот, подтверждает дружбу и заказывает художнику сперва портрет своего отца, сурового Жана-Батиста Александра, затем собственный. Гонорар составляет пятьсот франков, что по тем временам довольно много. Модильяни просит мецената позировать прямо на фоне полотна «Еврейка». Поль Александр с восторгом обнаруживает, что на портрете он эдакий красавчик нового времени. Некоторые посетители, видевшие картину, отмечают влияние на Модильяни флорентийского маньеризма. Александр замечает, что Модильяни не принадлежит ни к какой школе, напротив, он причудливым образом совмещает в себе и развивает различные течения. Модильяни отказывается терять время и упорно гнет свою линию, нигде не подрабатывает. А вот Бранкузи[14], например, на неделе всегда моет посуду в дешевой закусочной у Шартье на улице Фобур-Монмартр и каждое воскресенье прислуживает пономарем в румынской церкви на улице Жан-де-Бове. Итальянец не дает себе поблажек. Поль Александр уважает его за это бодлеровское «чрезмерное достоинство». Между 1907-м и 1912-м годами «добрый доктор» Александр приобретет у Модильяни примерно двадцать пять картин маслом и многочисленные рисунки. Он по-прежнему его единственный покупатель.

* * *

Увидим ли мы комету? Господа из обсерватории обеспокоены. Парижане, разорившиеся на подзорные трубы, проклинают непрекращающийся дождь. Под покровом черного зонтика, выбранного Колей в «Бон Марше», Анна позволяет вести себя, куда поэту только вздумается. «Париж для меня как раскрытая книга», – не устает повторять молодой супруг. Какая самонадеянность! Утверждать, что знаешь город, когда сами парижане в нем теряются – особенно после безжалостных реконструкций Османа, который фактически заново отстроил ряд кварталов! Кто может поклясться, что знает Париж со всеми бывшими деревушками? Парижане считают столицей всего несколько кварталов, и те между собой не сопрягаются. Например, в квартале Монсо понятия не имеют об обветшалом торговом квартале Оберкампф. А между особняками в Пасси, окруженными вечнозелеными садиками, и мансардами Шаронн – настоящая пропасть. Русский революционер Виктор Серж, направленный в это время во Францию для распространения «евангелия от Интернационала», напишет в своих мемуарах: «Роскошный Париж Елисейских Полей, Пасси и даже Больших бульваров с их бесчисленными магазинчиками, лавочками и ресторанами – нам чужд, это словно вражеский город. Наш Париж состоял из трех фрагментов: большой рабочий город начинался где-то в серой зоне каналов, кладбищ, пустырей и заводов, близ Шаронны и Пантеона, у Фландрского моста; затем на вершинах Бельвиль и Менильмонтана превращался в народную столицу, бедную, но энергичную, – здесь кипела жизнь, словно в муравейнике; потом начинался город вокзалов и удовольствий, железных мостов метро и подозрительных кварталов с дурной славой». Арендодатели, которые сдают свои каморки за двадцать су, бистро, куда постоянно наведываются сутенеры, проститутки с огромными шиньонами, наводящие ужас на маменькиных сынков, сироты, продаваемые самым богатым, детское рабство… Такой Париж, уже разоблаченный Виктором Гюго и Стейнленом, красочно изобразившим нищету Монмартра, ни в чем не уступал Санкт-Петербургу, описанному Некрасовым. Молодая русская пара проделала длинный путь не для того, чтобы обнаружить омерзительное зрелище, которым уже насладилась дома. Для Ахматовой и Гумилева Париж начинался в музеях и заканчивался в салонах.

* * *

В июне 1906 года Гумилев сошел с поезда на Восточном

вокзале. У него была с собой небольшая сумма денег, выданная матерью, которой юноша пообещал усовершенствовать свой французский в Сорбонне. В голове у поэта маячила лишь одна мысль: завоевать самый суровый и самый желанный город в мире. Путеводителем служил журнал «Мир искусства». Основанный в 1899 году Сергеем Дягилевым и его друзьями – Александром Бенуа, Леоном Бакстом и Евгением Лансере, журнал восхвалял космополитизм авангардистов Берлина, Вены и Парижа. Русское искусство в мире почти не знали, Дягилев и Бенуа мечтали познакомить Европу с русской живописью, музыкой и балетом. Гумилев воспринимал их статьи как призыв. Некоторые из его соотечественников-литераторов уже обосновались в Париже, и до отъезда молодой поэт заполучил несколько адресов – адрес Максимилиана Волошина казался ему самым ценным.

В России Волошину дали кличку «парижанин». В Царском Селе молодой Гумилев узнавал Париж по стихам Волошина об осени и соборе Нотр-Дам. Однако Волошин не только поэт. Он переводчик парнасцев, поклонник художника Одилона Редона, чью живопись пытается популяризировать в России. Этот огромный славянин, не то людоед, не то розовощекий толстенький малыш из рекламы детского мыла[15], разворачивает в Париже мощную деятельность критика искусств и проводника в русский творческий клуб, который Волошин создал на улице Буассонад благодаря финансовой и моральной поддержке своей подруги, художницы Елизаветы Кругликовой. В мастерской у Кругликовой собираются эксцентрики со всего Парижа: эстеты, художники, декадентские дамочки, жаждущие невозможного и неуловимого. В глазах Гумилева Волошин обладает исключительным качеством: никто не знает Париж лучше, чем он.

Кто еще открыл молодому поэту родной город Бодлера? Константин Бальмонт. Сосланный за участие в январских мятежах 1905 года, жестоко подавленных Николаем II, автор поэтического сборника «Будем как солнце» поселился на улице де ла Тур в 16-м округе. Гумилев слышал, что у Бальмонта были полезные связи в издательском мире. По тем же причинам, что Бальмонт, в Париже оказались Дмитрий Мережковский, отец русского символизма, и его жена, красавица Зинаида Гиппиус, которую многие побаивались. «Гадюка» – так прозвали эту самовлюбленную Мессалину[16]. Тем не менее Иван Бунин сохранит ее в воспоминаниях как невероятно худенького ангелочка, облаченного во все белое. Валерий Брюсов восхитился «пугающей прямотой» ее поэзии. Кстати, о Брюсове: Гумилев надеялся, что дружеское рекомендательное письмо от коллекционера ценных связей поможет познакомиться с прекрасной злодейкой. Не

забудем и о рекомендации верного друга Анненского.

Как только бывший наставник, а к тому времени поэт «на полную ставку», прознал о том, что его воспитанник продолжит обучение в Париже, он тут же написал письмо своей сестре с просьбой оказать молодому человеку протекцию и радушный прием. Сестра Анненского вышла замуж за француза, родившегося, по иронии судьбы, в Астрахани в 1852 году. Его звали Жозеф Деникер, и работал он главным библиотекарем в Музее естественной истории.

Деникер много путешествовал, от границ Кавказа до тибетских плато. Он принял Гумилева в своем убежище на улице Жоффруа-Сент-Илер. Молодой человек, способный по памяти нарисовать карту мира, но не способный без слез говорить про Абиссинию, тронул Деникера, словно его собственная несовершенная копия. Нетерпеливый амбициозный юноша изложил старому антропологу свои основные идеи фикс: длительная агония христианской эры; шанс на выживание, который могла бы получить полуживая Европа, если бы переняла традиции и ценности Азии; необходимость в мужественном роде человеческом. Кроме того, Гумилев признался новому другу в своем интересе к оккультизму. Ученый иронизировал. Гумилев настаивал на том, что оккультизм, в его понимании, лишь мостик, соединяющий невидимое с реальным.

– И откуда же берется этот мостик? – спросил Деникер.

– Этот мостик – поэзия, – ответил Гумилев.

Деникер едва сдержал улыбку, для него единственная поэзия – теория Дарвина. «Анатомическое и эмбриологическое исследование человекообразных обезьян» – так называется работа, благодаря которой Деникер приобрел известность. О чем она? О том, что не все расы одинаково развиты. Гумилев кивнул: слово «раса» вызывает у него приятное чувство уверенности. Величие императорской России, ортодоксальной и монархической. В своей комнате в Царском Селе поэт-подмастерье высек строчки стихотворений под статуэткой Святого Георгия. Мальчик думал, что этот святой, покровитель царских офицеров, и его покровитель.

* * *

Модильяни очень рано узнал о том, что смертен. В 1900 году, когда будущему художнику уже исполнилось шестнадцать, ему диагностировали туберкулез. За два года до этого он перенес брюшной тиф. Маргерита, его старшая сестра, считала, что ее

дорогой Дедо (так называли Модильяни в семье) подцепил палочку Коха по собственной вине, когда покинул домашний очаг и поселился в рабочем квартале Ливорно с товарищами из мастерской Гульельмо Микели, художника и первого учителя Амедео. Предыдущий наниматель студии, где обосновался Модильяни с приятелями, умер от туберкулеза. «Если бы он был поумнее, не заболел бы», – говорила сестра художника. Спустя век те же глупости болтают про СПИД. В 1899 году туберкулез вызывал страх. Это страх неведения, из которого возникают многочисленные фантазии. Туберкулез бушевал в Европе, словно чума, не щадя никого, тем не менее находились моралисты, утверждавшие, будто болезнь застает врасплох в основном чувствительных невротичных молодых людей и сбившихся с праведного пути девушек. К сожалению, никто не рассказывал о том, что страшная болезнь обостряет желание жить, и, если человек, по воле судьбы, излечился, он уже не упустит своего шанса в жизни.

Преодолев кризис, Дедо начал поправляться. Врачи были весьма осторожны. Они рекомендовали ему покой и отдых. Но как можно вести себя спокойно и отдыхать, если только что избежал смерти? Сейчас мы живы. Будем ли мы живы завтра? В любом случае надо спешить!

Пациент чувствовал, что должен удовлетворить свое желание – познать красоту, ее таинство, быть опьяненным ею, научиться порождать ее. Искусство звало художника.

Благодаря финансовой поддержке маминого брата Дедо понял, как ему повезло родиться итальянцем. Путешествие, столь необходимое для расширения кругозора молодого европейца, началось в 1901 году с Рима, где жил дядя. Рим оказался для Модильяни потрясением, которого он совсем не ждал. Об этом молодой человек поведал в письме к своему единственному на тот момент другу Оскару Гилья, художнику из мастерской Микели в Ливорно: Рим не просто вокруг, Модильяни почувствовал, будто семь холмов выросли прямо у него внутри, «словно семь основополагающих идей». Рим как идеальная палитра жизни Амедео; круг, в который заключены его мысли и где они проясняются.

Модильяни вовсе не мечтал увидеть Неаполь, но бронзовые статуи археологического музея, античные руины и церкви привели его в неописуемый восторг. Кто сумел заставить голову скульптуры так грациозно сидеть на шее? Откуда такое равновесие и совершенство объемов в сочетании с поразительной точностью линий? Всё это работа Тино ди Камаино, скульптора XIV века из Сиены. Знакомство с ди Камаино судьбоносно для

вдохновленного и растерянного Модильяни, потому что приехал он в Неаполь, ощущая себя художником, а уехал, разглядев в себе скульптора. Каков же истинный путь? Для какого искусства Амедео действительно создан?

На берегах реки Арно Модильяни вновь не поверил своим глазам: он привил себе строгий, по-военному упорядоченный стиль Флоренции, словно вирус. Как Ницше, художник любому обществу предпочитал благотворную для великих душ изоляцию. Тем не менее, будучи хорошим товарищем, он делил мастерскую на улице Сан Галло с Гилья. В Свободной школе живописи обнаженной натуры Модильяни высмеивал подражателей, раздражал учителей, завораживал товарищей своим мастерством. Ему недостаточно воспроизводить линии, он желал над ними властвовать, их порождать. Вместо занятий он ходил в галерею Уффици и проводил там дни напролет, сосредоточенный и углубленный в себя настолько, что отвлечь его было страшно.

Во Флоренции Тино ди Камаино скрывается в музее Бардини. Второе потрясение Модильяни, еще более значительное, чем неапольское, – работа под названием «Любовь» (La Carita): мраморная великанша, кормящая грудью двух младенцев. У нее чрезмерно удлиненное лицо, прямой нос и мощная, словно колонна храма, шея. Модильяни открыл блокнот, интуитивно чувствуя, почти наверняка зная – идеальные линии прямо перед ним – голова и шея кормилицы!

Модильяни изучал Флоренцию как новичок, а покидал награжденный кличкой Il Professore[17], без которой вполне обошелся бы.

В Венеции существовала своя Свободная школа живописи обнаженной натуры. Модильяни записался туда в 1903 году. Ему исполнилось девятнадцать лет. И, кажется, беспечная жизнь позади – Амедео получил дурную весть от матери Эжени: у дяди, который до сих пор финансово поддерживал племянника, болезнь легких. Что станет с будущим художника, если он лишится поддержки? Дедо обещал вести себя как серьезный деловой человек, но проказница Венеция соблазнила его тысячей удовольствий, которые так осуждала суровая Флоренция; в борделях острова Джудекка[18] Дедо начал увлекаться гашишем. Он думал, что совершал обычную прогулку, как туристы, взбирающиеся на вершину Везувия, но, подобно Эмпедоклу[19], угодившему в огненную пасть вулкана, Модильяни полетел в темный бездонный колодец.

В 1905 году богатый и щедрый дядюшка умер. Эжени Модильяни тут же села в поезд и отправилась в Венецию. Помимо грустных мыслей, у нее с собой прекрасное английское издание

«Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда. Почему? Наверное, потому что история солдата, повешенного за убийство любимой, – призыв быть самим собой, даже если это предполагает безумный риск. Эжени уверена: ее дорогого сына ждет особенная жизнь.

Что она сказала Модильяни, когда встретилась с ним в Венеции и поняла, что паинька Дедо сильно изменился? Эжени просила сына продолжать начатое дело, идти своим путем и не волноваться. Деньги найдутся, она говорила по-английски, а по-французски быстро и грамотно писала, она найдет работу переводчицы или даже «негра», если понадобится.

Невозможно расстраивать такую мать. Надо вырваться из Венеции и приструнить демонов.

В «Атласе современной гравюры» историка искусств Витторио Пика Дедо впервые увидел картины Тулуз-Лотрека. Модильяни близка трагедия в улыбающейся яркой маске. Его тронуло подавляемое затаенное безумие. А свобода линий представлялась молодому художнику свободой выбора пути: теперь он должен отправиться в Париж.

* * *

И Гумилев, и Модильяни приехали в Париж в 1906 году.

Я думаю о бесшумном полете призраков под небом, о жизнях, которые встречаются, притягиваются, завязываются в загадочный узел улиц и бульваров, превращаются в целую сеть союзов, заключенных в нематериальном мире, я думаю о влиянии мест на жесты судьбы.

Документов, подтверждающих знакомство, нет, но мне хочется вообразить, что в 1906 году муж Ахматовой и тот, о ком у нее останутся незабвенные воспоминания, сидели на одной террасе где-нибудь на Монпарнасе. Позволю себе такой полет фантазии.

Русский в целлулоидном воротничке, испытывающий смертельный ужас при мысли, что кто-нибудь сочтет его неэлегантным.

Черная шляпа с широкими полями и красный платок, небрежно завязанный на шее: итальянец по-своему поднимает анархистский флаг.

Русский во власти фантазий, чувствующий себя пленником Парижа и героем рыцарского романа. Художник из Ливорно, способный разглядеть в толпе сто тысяч разных лиц и, подобно вору или искателю сокровищ, завладеть ими, превратить

вариации человеческой внешности в свою собственность.

Русский, гордый, оттого что родился в Кронштадте, где высокомерие офицеров усиливалось при каждом поднятии государственного флага и при виде двуглавого орла. Итальянец, сын евреев, не скрывающий своего происхождения, а напротив, громогласно заявляющий о нем, словно желая пополнить список своих эпатажных выходок.

– Я монархист, я готов поклясться в этом перед Христом!

– Я еврей. Идите все в задницу!

* * *

Все было предусмотрено, путеводители и карты, рекомендательные письма, франко-русский словарь, даже смокинг на случай вечеринок в русском творческом клубе на улице Буассонад. Молодой человек так стремился отыскать себе местечко на парижском празднике жизни, но обстоятельства сложились иначе.

Волошин словно испарился, Бальмонт никак не отреагировал на карточку, оставленную у консьержки. Оставалась Зинаида Гиппиус. Для «декадентской Мадонны» любая возможность испытать свою извращенную женственность хороша. Молодой человек прислал письмо! Гумилев? Его имя о чем-то смутно напоминало; может, Брюсов написал о нем пару строк в своей колонке в журнале «Весы»? Наивный и напыщенный провинциал, не так ли? «Пускай приходит», – разрешила Мессалина. В комнате, которую Гумилев снял на улице Гэтэ, поэт тщательно подготовился к встрече. О последствиях Гиппиус напишет Брюсову: «Двадцать лет. Бледный как мертвец. С языка слетают сплошные клише. Вдыхает эфир и считает, что после неудач Христа и Будды только он может изменить мир. Мне не пришлось с ним долго маяться. Он вскоре надел шляпу и удалился».

Неискоренимая злоба человеческих существ. Безличная доброта животных. Перед почтовой конторой Ботанического сада, где Гумилев благодаря пропуску, выданному Деникером, гулял, сколько душе угодно, поэт исписал страницы блокнота одну за другой. Париж стоит жирафа. Париж, если испить в нем горечи сполна, достоин кенгуру.

Сон меня сегодня не разнежил,
Я проснулась рано поутру.
И пошла, вдыхая воздух свежий,
Посмотреть ручного кенгуру.

Анна все время в его мыслях.

Анна, оставленная в Киеве у тети, среди наивных простушек из частных школ, надутых индюков-торговцев и страдающих ожирением буржуазок в кружевах.

Анна, которую он возил в Крым, на пляж, в Евпаторию, откуда рукой подать до Севастополя, – он уже ни на что не надеялся, и вдруг прямо на берегу девушка подарила ему поцелуй.

Париж должен излечить его от одержимости Анной. Встречи с пошлыми весельчаками Монмартра и короткие, но насыщенные беседы с завсегдатаями Монпарнаса должны затушить пожар воспоминаний. Однако одержимость не давала поэту покоя, его сирена повсюду.

Мысли так отчетливо ложатся,
Словно тени листьев поутру.
Я хочу к кому-нибудь ласкаться,
Как ко мне ласкался кенгуру.

Он ждет писем от Анны, которые она, впрочем, вовсе не обещала присылать, и, когда ожидание становится мучительным, бродит по Севастопольскому бульвару, тихим голосом повторяя имя любимой.

Что излечит это наваждение?

Может, страусиный парк на Международной колониальной выставке? Или экзотические танцовщицы с непристойно ярким макияжем под стеклянной крышей Гран Пале? Какой-нибудь местный театр, пантомима, закопченные лица-маски? Пускай будут страусы, но сознание изменится благодаря Бергсону. Его лекции в Коллеж де Франс словно мессы. Гумилев созерцал наманикюренные руки, академические пальмы, трости с серебряными набалдашниками. Весь Париж, недосягаемые Гималаи. Как вновь обрести уверенность в себе? Может, на террасе на улице дез Эколь перед коктейлем мандарин-кюрасао? А может, галстук повязать по-особенному? Как успокоить сердце?

В октябре 1906 года Сергей Дягилев запустил в Гран Пале свой проект, посвященный русскому искусству. Выставка называлась «Два века русского искусства» и сочетала в себе более трехсот старинных икон из частных коллекций, полотна Рериха, Бакста и Бенуа. Гумилев отправился на выставку и завязал там дружбу с двумя соотечественниками: Фармаковский и Божерянов столь же нетерпеливы и амбициозны, сколь и молодой поэт.

Зрела ли идея создания журнала об искусстве и литературе под сводами Гран Пале или в одном из кафе за Пантеоном, куда Гумилева привел еще один новый друг Николай Деникер? Поэт, наполовину русский, племянник библиотекаря из Ботанического сада, тоже нешуточно увлекался оккультизмом; Гумилев обязан ему знакомством с Рене Гилем. В начале карьеры Гиля очень поддерживал Малларме, впрочем, поэт-новатор быстро пошел своей дорогой; ему была чужда языковая простота, он чувствовал себя вольным стрелком, интересовался лингвистикой и в особенности поэтическим языком. Уловить мощность крика и писать «музыкальными словами языка музыки» – такова его цель. Сумасшедший? Прорицатель? Гиль, без сомнений, был и тем, и другим. Наконец-то Гумилев нашел сподвижников, людей, разделявших его интересы. Деникер, Фармаковский и Божерянов отныне с поэтом заодно. По ночам Рене Гиль проводил собрания; и когда Гумилев садился на поезд, чтобы отправиться на край города, куда глаза глядят, он понимал: лишь теперь жизнь становилась настоящей.

В январе 1907 года в Париже был напечатан первый номер журнала «Сириус». Обложку, разумеется, рисовал Фармаковский: нимфа с огромными глазами, словно у кукольных героинь японской манги. Еще одно издание? Еще одно русское издание в Париже?

Гумилев с удовольствием играл роль «агента Невозможного». Невозможное – все, что связано с Анной, ее местом пребывания, ее чувствами. Создание нового русского журнала за рубежом представлялось Гумилеву отличным способом привлечь внимание возлюбленной. Отныне он не просто робкий, хоть и надоедливый воздыхатель, он – директор журнала, готовый печатать стихи молодой поэтессы. И действительно – Анна попалась на крючок. В письме к мужу своей старшей сестры филологу фон Штейну она выразила энтузиазм и заинтересованность: «Почему Гумилев взялся за издание «Сириуса»? Я крайне удивлена и воодушевлена. Теперь пришел конец его злоключениям!» В феврале во втором номере «Сириуса» опубликовано стихотворение «На руке его много блестящих колец», загадочно подписанное Анна Г.

Прощай, свободная жизнь. «Сириус» поглотил Гумилева целиком, он не только создатель и директор, но и один из главных авторов, печатавшийся под разными псевдонимами – «Анатоль Грант», «К-о». Как воспринимали журнал русские парижане, по большому счету единственные люди, способные оценить издание? Желчная Гиппиус не реагировала. Бальмонт тоже. Он не ответил ни на одно из писем, отправленных автором «Кенгуру»[20]. Кто читал журнал «Сириус», помимо его

создателей?

Три номера были изданы, после чего дело заглохло. Какие чувства испытывал Гумилев, глядя на пирамиду непроданных экземпляров? Только не разочарование. «Сириус» уничтожил тайный страх поэта – теперь он знал, на что способен, теперь Коля был уверен – он не выскочка-плагиатор. И пускай Дягилев с компанией блистают сколько влезет.

Отныне Гумилев стал писать меньше, но лучше. Мало-помалу, однако, сложился сборник под названием «Романтические цветы» – реверанс в сторону Бодлера[21]. Головокружению Зла тексты Гумилева противопоставили утешение красотой; по крайней мере, так сказал о своем сборнике сам автор в письме к Брюсову. Вторая миссия книги – сломить сопротивление любимой женщины – осталась не озвученной. Гумилев намерен посвятить свои новые творенья Анне. Поэт совершенно уверен в том, что Анна будет в восторге, обнаружив посвящение, и заранее радовался. Иногда продавец шнурков на улице Монж слышал, как Николай весело насвистывал.

* * *

Четырьмя годами позже, вернувшись в город, с которым у Гумилева были связаны многочисленные амбиции, поэт, конечно, хочет оказаться для Анны гидом и ментором. Но Ахматова жаждет совершенно иного: ей нужен ее собственный Париж, Париж, увиденный ее глазами, Париж, который она оценит как никто – прямо сейчас, смело ныряя в волну новых впечатлений. Например, площадь Звезды, пупок Парижа, думала Анна, стоя у подножия Триумфальной арки. Охватить ее царственным взглядом, проезжая мимо на омнибусе, затем осилить тот же маршрут пешком, почувствовать, как устали мышцы, а голова словно затуманилась от ритмичного вращения улиц вокруг этого одного из главных столичных памятников. Или удалиться от площади Звезды, дойти до Пасси, увидеть Париж немножко издалека и вспомнить о Наполеоне, созерцавшем три тысячи московских колоколен с высоты Воробьевых гор. Или исследовать фальшивую природу улицы дю Буа[22], стать свидетельницей того, как модники и модницы выставляют напоказ роскошные наряды и украшения: шляпы с широкими мягкими полями, жемчуга в несколько рядов, платья-«пекинки»[23] и блузы с басками[24]; вглядеться в пестрое изобилие уловок от кутюр без зависти, с легкой усмешкой, с гордостью за собственный отказ от тщеславия и с тайным пониманием своего превосходства; сказать себе,

случайно задев локтем чей-то шелковый сиреневый зонтик, что весь этот бомонд не стоит внутреннего мира Анны Ахматовой. Или оказаться еще более дерзкой и бесстрашно ринуться в лабиринт подозрительных узких улочек квартала Маре, пойти по следам покойных королев с неповторимыми трагическими судьбами; порхать с места на место, подобно лепестку, подхваченному ветром.

Меняется ли человек? Анна сохраняет чистую трепетную душу. Она по-прежнему нуждается в глотке свежего воздуха и по-прежнему внезапно вспыхивает безо всякой причины.

> Стать бы снова приморской девчонкой,
> Туфли на босу ногу надеть,
> И закладывать косы коронкой,
> И взволнованным голосом петь[25].

В Париже Анна превращается в расхитительницу культуры и света, для многих незаметного, но того самого, к которому поэтесса стремилась с детства.

Она вольна чувствовать всеми фибрами души.

Коля отводит ее в книжные магазины Латинского квартала. У Анны кружится голова при взгляде на бесконечное множество книг, написанных другими людьми, перед которыми начинающий автор млеет и робеет. Мария Башкирцева, например, умерла от туберкулеза в 1884 году, ее оплакивал Ги де Мопассан, превозносил поэт Андре Терье – он должен был издать «Дневник» Башкирцевой, начатый ею в тринадцатилетнем возрасте. Библию романтиков и амбициозных молодых людей. Надо же! Умереть в двадцать четыре года, оставив после себя целое наследие. Анна быстро делает подсчеты: ей самой уже двадцать один год, а кроме одного стихотворения в «Сириусе», она еще ничего не опубликовала.

Коля переходит от одного тома к другому. Рядом с кассой лежит целая стопка сочинений Кокто, сколько они стоят? *Фривольный принц*. Любопытное название. Коля вспоминает Блока. Любила ли Анна прекрасного Александра? Вполне возможно. Все красавицы Петербурга были готовы на безумства ради адониса русской словесности. Коля гонит дурные мысли и берется за следующий том. Робер де Монтескью, французский Бальмонт, насколько понимает Гумилев. Посмотрим-посмотрим… Поэт листает «Пестрые слова» с улыбкой палача. «Анна! Анна!» – Гумилев зовет супругу, которая спряталась среди полок с книгами об искусстве. Гумилев держит высоко над головой томик стихов и потрясает им, приманивая Анну, будто собаку на косточку. «Вот

книга специально для тебя, Анна, поэтесса со знатной фамилией. Думаю, тебе стоит поучиться у графини Матье де Ноай умению ладить с музой». Анна сжимает кулаки.

* * *

Чем Амедео занимается в Париже? Постоянно рисует и перерыв делает лишь на время переезда. Бускара, меблированная студия на площади Терт, улица Жирардон, улица Коленкур на окраине Монмартра, дом № 13 по улице Норвен, дом № 13 по улице Равиньян, Бато-Лавуар, дом № 7 по улице Жан-Батист-Клеман, дом № 39 по улице Элизе-де-Боз-Ар, улица Дуэ, недалеко от бывшего монастыря, о котором Аполлинер вспомнит в книге «Слоняясь по двум берегам».

Возможно, теперь эти адреса формируют всего лишь нелепую карту, смазанную картинку, на которой просматривается только материнский наказ – сколь нежный, столь и пугающий.

Он был рожден для счастья, но не находит его нигде, разве что перед картинами Сезанна, призрака и учителя. Образ «Мальчика в красном жилете» преследует Модильяни, словно он сам сотворил полотно. Открытка всегда в его кармане, и стоит ее вынуть, художник перестает контролировать эмоции, подносит карточку к губам и целует. Сумасшествие ли это? Единственное лекарство – работа. Амедео работает до потери пульса, рисует наездницу в желтом жакете с рыжим шиньоном под серой шляпкой, типографа на синем фоне. Его картины всем кажутся любопытными, но покупателей нет как нет. Зато портреты, нарисованные на террасе кафе одним движением руки, расхватывают один за другим. Этот пять франков, тот два – можно поддержать приятелей, у которых нет ни таланта, ни ловкости Пикассо. Маленького двойника Пикассо.

Прошло то время, когда испанец из Малаги видел в итальянце из Ливорно единственного принца Монмартра. Пикассо оставил Холм, а нищета оставила Пикассо. Галерист с улицы Виньон готовит коронование – Пикассо дает ему на продажу все свои полотна, и все продаются. У Даниеля-Анри Канвейлера лишь один недостаток: он мыслит художественными школами, тогда как Модильяни их избегает. Он далек от ташизма, пуантилизма, маккиайолизма, от тосканских импрессионистов, от наивного футуризма, в котором барахтается смельчак Северини; кубизм, еще не называемый кубизмом, но уже разделяющий критиков на два лагеря, не интересует Амедео ни капли, и во храме искусства молодой новатор исповедует

собственную религию.

Модильяни всегда подчинялся лишь одному правилу – отказу от правил. Уже в Ливорно, в мастерской Микели, когда старый художник упрекал юнца – мол, солнце забыл на холсте, Амедео отвечал: так я вижу пейзаж.

Подстраивайся Модильяни под кого-то, складывалась бы его карьера удачнее? Неизвестно. Наступить на горло собственной песне, смирить гордыню Амедео просто не может. А завидовать Пикассо, плести интриги против Хуана Гриса[26] или Брака[27]? Это ниже его достоинства. Что же он делает? Принимает поражение, не изменяя своему величию, не вступает в конфликты, тихо пьянствует, не заводя ни реальных, ни воображаемых врагов.

Все восторгаются красотой элегантного итальянца в габардиновом плаще, все прославляют его щедрость, когда последние гроши художник отдает товарищам; многие его сторонятся, но только не женщины, которых всегда привлекают несчастные денди. Мог ли Амедео уйти на покой? Сдаться? Нет. Это не в его стиле. Слишком горделив. До такой степени, что даже шикарных любовниц, которые зевали, слушая Данте в исполнении Модильяни, художник покидал сразу, без сожалений.

* * *

Весной 1909 года, по настоятельному совету Бранкузи, с которым Модильяни познакомился через Поля Александра, молодому художнику наконец удается оторваться от пейзажей – в частности, зарисованной до дыр улицы Сен-Венсен с виноградниками. Вишневые деревья улицы Лепик, которые Амедео писал зимой, весной и летом, теперь остаются в прошлом. Прощай, Монмартр. Аполлинер, в то время критик в «Интранзижан», спел похоронную песнь кварталу художников: «Молодым талантам отныне здесь не место, на Монмартре теперь трудно выжить, тут полным-полно фальшивых живописцев, предпринимателей, вообразивших себя королями промышленности, и безудержных опиоманов».

Когда Модильяни переезжает в сите Фальгьер[28], он обнаруживает квартал, пребывающий в постоянном движении. В Париже начинает проклевываться бульвар Распай, и во время строительных работ дома рушатся десятками. А бульвар Монпарнас – тогда он еще называется окраинным – прочерчивает прямую линию к ресторану «Клозери де Лила». Автомобилисты постепенно вытесняют кучеров. Будет ли столица скучать по запаху лошадиного дерьма?

Обновляться, любой ценой завоевывать современность или просто сгинуть – таков девиз ресторанчиков и кафе, главного игрового поля всех гениальных чудовищ Парижа, которые готовы наломать сколько угодно дров, лишь бы не продуть судьбе. Хозяева питейных заведений и знаменитых бистро обогащаются, директор «Ле Дом» сооружает у себя бильярдную, владелец «Ротонды» подписывается на мировую прессу. На тротуарах, испещренных террасами, переполненными народом как никогда, клиенты перекрикиваются по-русски, ругаются по-немецки и просят прощения, мешая французский с английским. Ночью Монпарнас изображает из себя Нью-Йорк, но по утрам запахи палых листьев врываются в ноздри каждого прохожего, и можно купить козьего молока у парня, который пасет скот в Люксембургском саду, и встретить мизантропа, гордящегося тем, что никогда не был на противоположном берегу Сены.

Монпарнас 1910 года – это Монмартр, еще не предавший своих обещаний.

На окраине дороги, что расположена рядом с бывшим кирпичным заводом, сите Фальгьер с его «Вилла Роз» кажется произведением искусства, созданным скульптором-филантропом, о котором давно бы все забыли, если бы он не купил участок земли и не застроил его мастерскими для сдачи в аренду по низкой цене. Гоген работал там уже в 1877 году. Модильяни обустраивается на первом этаже в мастерской № 14, в 1916 году с ним вместе поселится молодой Сутин[29]. Приехавший из родной Японии Фуджита[30] займет помещение этажом выше.

Арендная плата просто смехотворна, но приходилось терпеть холод, насекомых, отсутствие электричества и газа. Впоследствии все «монпарнасцы» расскажут в мемуарах о нездоровой обстановке, с которой надо было мириться. Однажды вечером художник Пинкус Кремень навестил своих соседей, Сутина и Модильяни, и увидел, что молодые люди читают, лежа прямо на глинобитном полу. Одна-единственная свеча, поставленная между друзьями, освещала целые легионы клопов, художники спасались от паразитов, прорывая в полу неглубокие канавки и наполняя их водой. Впрочем, хитроумные изобретения не слишком помогали. Клопы подпрыгивали до самого потолка и атаковали жертв сверху. «Как парашютисты», – напишет Кремень. Но Модильяни ничто не может отвлечь – молодой художник читает Данте.

* * *

Чтение – страсть, которую Амедео передали две женщины.

Во-первых, Модильяни всегда видел в окружении книг свою мать. Эжени Модильяни, урожденную Гарсен, воспитала няня-протестантка, некая мисс Уитфилд, затем девочку отдали в католическую школу в Марселе, впоследствии уже во взрослом возрасте она сама открыла языковую школу в Ливорно. В Париж Эжени привезла редкое издание Оскара Уайльда. Но в первые годы брака с Фламинио Модильяни свободолюбивой девушке пришлось отказаться и от библиотеки, и от пианино. Семья спекулирующих коммерсантов, да еще фанатичных ортодоксов, сильно отличалась от того общества, к которому привыкла Эжени Гарсен. И в отчаянии она сознавала, что уже не может быть хозяйкой самой себе. Муж воспринимал ее исключительно как машину для производства детей. Унизительное рабство закончилось лишь в 1884 году, когда семья Модильяни обеднела. Амедео как раз только родился, четвертый и «последний ребенок» – твердо заявила его мать. Когда семья разорилась, Эжени наконец смогла проявить себя в любимом деле: она талантливо переводила и, согласившись стать «негром» одного американского профессора, приступила к работе над англоязычным эссе в двух томах, посвященным итальянской литературе. Для Эжени Модильяни книги – камни, из которых можно воздвигнуть внутренний мир. Для Лоры, ее младшей сестры, книги – оружие революции.

Лора Гарсен – фальшивая недотрога, раздираемая желанием невозможного, Камилла Клодель[31] без единого творенья, Луиза Мишель[32] без баррикад. Идеальная родственница для того, кто считает высшей мудростью иметь мечты столь огромные, чтобы они никогда не терялись из виду. Дедо общался с Лорой беспрерывно. Эжени Модильяни искренне жаловалась на это в своем дневнике: заговорщики, составляющие манифест спасителей-анархистов, живущие в джунглях безумных идей, «чересчур туманных», на ее вкус. В Италии царила эпоха забастовок и мятежей на заводах. Лора делилась с Модильяни своим чтением: анархист Кропоткин, Бергсон и Ницше – без них, разумеется, не обойтись.

Рядового итальянца не удивишь знанием «Божественной комедии» наизусть, зато на Монпарнасе, благодаря такому феномену, можно заслужить отличную репутацию. Моди – так называют красавчика в его квартале – всегда носит с собой книгу, Бодлера или Леопарди, Аннунцио или Шелли, Вийона или Уайльда. Амедео отнюдь не против прослыть эрудитом. Хоть какая-то слава. И умирать уже вроде бы не очень страшно – что-то ведь в жизни сделал. «Чересчур большое самомнение и буйная

фантазия», – шипят злые языки. Моди Лорензаччо, Моди Полишинель, неуловимый Моди, высмеивающий ученых, но без устали читающий Спинозу и на вопросы удивленной публики отвечающий очень просто, – сказочку Амедео состряпать умеет: мол, философ из Амстердама – его предок по материнской линии, Спиноза и Гарсен были дальними родственниками. Врет ли Модильяни? Да и нет: между одиноким мыслителем, отлученным от церкви, и молодым художником действительно существует связь. Способ представления мира в виде аксиом Модильяни считает наиболее убедительным. В философских трактатах Спинозы Амедео видит самую точную, подробную и жестокую картину пантеизма. «Философия у меня в крови», – утверждает художник. А его друзья, прибывшие в Париж из глухих провинций, внимают гению, разинув рты.

* * *

Ради чего нам дается талант? Чудо, помещенное кем-то в голову человека? Ради предотвращения банкротства? Ради спасения страны от вражеского стана? Ради обогащения? Богачи боятся – Модильяни сам видел это на примере своей семьи, и страх бедности лишает людей настоящего богатства: интеллекта.

Так Амедео пишет своему другу Гилья: в книгах, как в музеях, он ищет озарения, ослепительного света, который пронзит его насквозь, позволит стать самим собой.

Поиски не прекращаются ни на мгновенье.

Когда приходит усталость, он отряхивает от пыли бархатный жакет, надевает его и, спасаясь от неведомой части себя, отправляется в Люксембургский сад – островок плодородия, где кормящие матери кажутся желанными как нигде, и куда можно добраться закоулками, известными лишь избранным, держа в кармане томик стихов Верлена. Скамейка в стороне от всех – ждет. Скоро лето, камни уже теплые, Модильяни садится на один из них, открывает сборник, держит его в огрубевших от растворителя ладонях, и напряжение постепенно растворяется в словах:

> В старинном парке ветер выл осенний.
> В старинном парке тихо шли две тени[33].

Упорство и честолюбие, верность себе – в этом весь Модильяни.

* * *

Пугающая комета Галлея. Ученые господа из обсерватории предсказывают ее появление в пятницу, 20 мая. В саду Тюильри – толпа, на Марсовом поле – толпа, на крышах – тоже: смельчаки, покачиваясь, прохаживаются между каминными трубами, крепко сжимая в руках телескопы. Но звезда играет в Арлезианку[34]. Этим вечером в парижской опере начинается второй сезон «Русских балетов». Взаправду ли речь идет о балетах? В 1910 году под балетами понимали кружение по воздуху прекрасных сильфид, грациозно умирающих лебедей. Нечто устаревшее и вызывающее у публики скептическую улыбку, несмотря на вдохновенные холсты Дега.

Дягилев со своими сообщниками, паяцами, куклами, сладострастными рабынями, фавнами с мускулистыми ягодицами, истребляют существующую традицию. Игорь Стравинский испепеляет Дебюсси огнем «Жар-птицы»; хореограф Михаил Фокин руководит восстанием тел; колорист и рисовальщик, костюмер и декоратор, способный сотворить нечто невероятное, Леон Бакст со вкусом использует яркие цвета – синий, зеленый, алый; его декорации совмещают в себе утонченный стиль Бердслея[35], иллюстратора, обожаемого Оскаром Уайльдом, резкость немецких экспрессионистов и революционный дух, предвестник кровавого 1917 года, – тот дух, который не упускает из виду Пикассо, вечно боящийся не найти применения своей храбрости: именно он создаст костюмы для балета «Парад» и занавес, который до сих пор считается одним из самых выдающихся театральных занавесов в мире.

Весной 1910 года славяне – это для многих варвары, которых сторонятся. Анна де Ноай, присутствующая на всех премьерах, экзальтированно делится впечатлениями: «Все, что вызывает восторг, ослепляет, пьянит, соблазняет, привлекает, было сценическим откровением». Габриель Шанель, меценатка, спонсирующая балетное искусство вместе с подругой Мизией Сер, тонко и более прозрачно, нежели поэтесса Ноай, отмечает, что Россия Дягилева существует лишь в его собственном сознании. Фиктивная, пугающая и чарующая Россия. Архаический экзотизм половецких плясок, сарабанды «Пира», магия «Жар-птицы», написанной по мотивам народной сказки, истома и нега «Шахерезады» – блестящие симулякры России, живущей в мечтах французов, как романы Дюма – симулякры Франции в умах русских.

Миражи глубоко вдохновляют Марселя Пруста. «Никогда не видел ничего более красивого», – пишет он своему другу

Рейнальдо Ану после просмотра «Жар-птицы». Красота тем более поразительна, что абсолютно бесстыдна в исполнении Нижинского – он играл фавна. Публика шепталась о том, что слуга Нижинского Василий мог бы купить себе дом, продав розы, собранные андрогенной звездой «Видения Розы»[36]. Танец – узаконенная для демонстрации на публике разновидность секса. Дягилев, по прозвищу «Шиншилла» – но только для друзей, с белой прядью, словно перечеркивающей фальшивую угольно-черную шевелюру, выбирает танцоров, словно рабов, и, как рабов, продает их ненасытному парижскому обществу; в каждом теле Дягилев чувствует особую пульсацию.

Ида Рубинштейн обладает немыслимой сексуальной привлекательностью. Кокто говорит, что эта женщина слишком красива – как слишком сильные духи. В издании «Экзамине» американский журналист Алан Дейл выражается еще более жестоко: «Ее бледная, чуть ли не зеленоватая кожа сияет странным светом. А красный, словно разверстая рана, рот вызывает смесь отвращения и восторга (…). Мадемуазель Рубинштейн кажется задумчивой, рассеянной и очень грустной. Одно-единственное украшение сверкает тысячей огней на руке с длинными подвижными пальцами, а фригидную грудь обрамляют кружева».

Пьетра – начинающая балерина, но в том, что касается эксгибиционизма, ей нет равных. Она пользуется своим телом как редким инструментом, в выгодном свете представляет чрезмерную худобу и другие недостатки, играет локонами, вкладывает драматизм в каждый жест – таково ее искусство. Сара Бернар за спиной у Пьетры высмеивает ее посредственную игру, но, когда богатая подруга Дягилева выступает на сцене, великая актриса следит за ее движениями, не отрывая взора ни на минуту.

Николай Гумилев достает два билета на «Шахерезаду»: либретто Александра Бенуа, музыка Римского-Корсакова, костюмы и декорации Леона Бакста, хореография Михаила Фокина. Об Иде Рубинштейн в роли шикарной рабыни, облаченной в перья и фальшивые жемчуга, великая Ахматова будет вспоминать спустя четыре десятилетия.

Молодая поэтесса с жадностью впитывает новые впечатления и во время спектакля, среди позолоты и фресок, внезапно сознает простую истину, которая для жизни и славы ей очень пригодится: язык тела действительно существует.

* * *

Если умело пользоваться видимым, то невидимое лишь выигрывает. Человеческое тело говорит. Успех публичных чтений Ахматовой начиная с 1912 года, конечно, связан с этим открытием. Все присутствующие рассказывали, как восхитительно поэтесса декламировала. Медленно, с нежностью, часто – скрестив руки на груди. Певучий голос завораживал аудиторию. Осип Мандельштам в одном из стихотворений напишет о чудесном голосе подруги:

Твое чудесное произношенье —
Горячий посвист хищных птиц;
Скажу ль: живое впечатленье
Каких-то шелковых зарниц.

Никакого гумилевского пафоса, но каждое слово, каждая строка – в движении. Поэзия тела формировала язык литературы.

* * *

Какие картинки наиболее точно отображают столицу, которая была искушением, надеждой на перерождение, вторым дыханием для людей искусства, родившихся вдали от Парижа? Экстаз Хаима Сутина перед Шарденом в Лувре? Константин Бранкузи на авиационной выставке в Бурже, куда его заманили Марсель Дюшан[37] и Фернан Леже[38], готовые поклясться красотой стальных птиц, что их товарищ сотворит нечто более гениальное. Второе рождение Осипа Цадкина[39] на улице Ренн перед скульптурой в галерее Эмиля Геймана, «Отца-варвара», как его называли художники, поскольку он первым в Париже стал продвигать африканское искусство. Изумление Сержа Шаршуна[40], обнаружившего, что Монпарнас, призванный излечить его от родного Урала, приютил целую славянскую колонию. Или насмешливость и властность Марии Васильевой, художницы и владелицы закусочной на авеню дю Мэн.

Мария Васильева родилась в Смоленске в один год с Модильяни, получила стипендию в Академии художеств в Санкт-Петербурге, затем в 1907 году с образовательной целью приехала в Париж, где обосновалась окончательно, стала ученицей Матисса и сама впоследствии основала товарищество художников по адресу авеню дю Мэн, дом 21, создав таким образом новое культовое место встреч интеллигентных русских на Монпарнасе. В 1915 году при товариществе появилась несравненная закусочная, где суп, мясное блюдо и салат или десерт стоили

всего 65 сантимов. Нелегко вообразить себе это бедненькое помещение, очаровательное и творчески-беспорядочно оформленное с помощью гобеленов, подушек и прочих побрякушек, даруемых русскими посетителями. Ученики этой художественной академии – Цадкины, Орловы, Архипенко – приносили свои картины, которыми платили за чудесный обед, позволяющий хоть ненадолго забыть о неуютных мастерских и неблагодарных торговцах.

О Модильяни в заведении Марии Васильевой распространяются те еще слухи: мол, питается он за счет заведения, поскольку хозяйка ценит его шарм, жесткость и свободолюбие. Мол, стоит Амедео хорошенько выпить и найти себе для компании каких-нибудь резвых козочек с грязными мыслишками, молодой художник устраивает стриптиз.

Обнажиться, поменяться ролями, из охотника превратиться в жертву – игры забавляют Модильяни. Сначала он снимает пояс, длинный пояс долго скользит по талии, пока его обладатель перемигивается с публикой – строить глазки Амедео научили уличные девки. Наконец – брюки падают. Русские поднимают бокалы. Англичанки кусают губы. Моди ловит на себе вожделенные взгляды и наслаждается ими.

* * *

На самом деле Гумилев не знает Парижа. У знатоков Парижа всегда есть адреса надежных товарищей. Гумилеву в Париже не у кого переночевать и не с кем пооткровенничать. Разумеется, все дело в его характере. Эксцентрику Волошину достаточно руку протянуть, чтобы его полюбили. Коля такой харизмой не обладает. Он везде остается лишь временным гостем. Гумилев откроет для своей жены Париж с картинки, с красивой открытки, и Ахматова будет вспоминать его как «не настоящий Париж».

* * *

В сите Фальгьер большинство мастерских заняты скульпторами. Модильяни видит в этом знак судьбы. Неотступное желание, проклюнувшееся еще во время поездки по Италии, должно наконец во что-то воплотиться. При знакомстве с Блезом Сандраром, первым другом Модильяни на Монмартре, молодой художник представляется скульптором, умалчивая, однако, о приключениях, в которые ввязался ради любимого дела. О ночных

вылазках на стройки. О незаконной добыче дубовых брусьев, предназначенных для строительства новой ветки парижского метро «Север – Юг». О выгодном обмене каменного блока на бутылку вувре на бульваре Маршалов. О том, как на стройке Сакре-Кер к Модильяни случайно попал белый камень из карьеров Шато-Ландон да так у него и остался.

Богатства Модильяни охраняет, словно молодой отец – колыбель. А затем подчиняет камень своим желаниям – будто женщину, о которой слишком долго мечтал.

Скульптура для Модильяни выше живописи, но куда ее девать, если так мало места?

В сите Фальгьер в принципе места достаточно, к тому же есть Бранкузи. Маленький бородатый человечек, которого дети квартала назвали Дедом Морозом, работает в нескольких улицах от него. Но речи быть не может о том, чтобы держать с ним совместную мастерскую. Они слишком разные. Бранкузи старше и организовывает жизнь так, что никогда не сидит впроголодь. Он хитер, находчив и умеет бороться с нищетой. Он скуп на деньги, но щедр на советы ближнему.

– Все зависит от камня, – утверждает Бранкузи.

– А Роден? – спрашивает Модильяни.

Бранкузи был подмастерьем у Родена всего несколько недель, до тех пор, пока не осознал, что в тени большого дерева вырасти нельзя.

– Я учился у него, надеясь овладеть его методикой. Роден подчинял своей воле природный хаос. Роден смешивал землю и работал с формами как никто.

Гений, но слишком уж грязь разводил!

Модильяни улыбается добрым словам.

– Работаешь ли с деревом, с мрамором или с камнем – материал диктует форму, – продолжает Бранкузи. – Все зависит от материала, – повторяет он, словно мантру. – Так что резать надо по живому. Надо атаковать каменный блок. А если совершаешь ошибку, бросай, бери другой блок и начинай заново.

Пот и пыль. Пыль заполняет легкие, становится их частью, постепенно ты забываешь об их уязвимости. Кто мы? Скульпторы или солдаты? Камень сопротивляется, мы кашляем, кровоточим, ругаемся, и вот – пересекаем невидимый порог, материал крошится, его осколки летят по воздуху, унося с собой реальность, границы раздвигаются, стены рушатся, ангкорские танцовщицы и негритянские маски заполняют мастерскую.

Из камня возникает лицо, серьезное, как сама надежда.

Лицо королевы, которую мы хотели бы взять в сестры.

Лицо незнакомки, которую мы бы сделали другом.

Лицо, принадлежащее лишь нам; лицо, в котором мы уверены; которое мы наделили суровой красотой ангела и которое держим в неподвижных руках.

Однажды вечером это лицо, произведенное на свет нами и никем другим, вдруг является как живое, и не одно, а снабженное телом неизвестной дамы. Каменная мечта, возникшая еще в Италии, говорит по-французски с сильным русским акцентом.

* * *

Майским вечером 1910 года Модильяни впервые увидел Анну. Вернее – молодой скульптор увидел, что к нему приближается плод его фантазий. Откуда она взялась? С Луны упала? Откуда взялся сам Амедео? Где художник встретил музу? В Ротонде? На углу бульваров Распай и Монпарнас? Ресторан только что появился и сразу стал излюбленным местом общений светской элиты Монпарнаса. На террасе кофе стоил буквально су, и поскольку помещение было небольшим, люди знакомились быстро.

Каждый вечер, когда Модильяни приходил по дешевке сбыть какие-нибудь рисунки, Пикассо и Диего Ривера уже сидели на террасе. Что делал в обществе этих признанных звезд «Фривольный принц» Кокто? Как всегда, занимался саморекламой. А Сутин брал уроки французского в обмен на кофе с молоком, который успокаивал его желудок. А Макс Жакоб[41]? Вечно всем рассказывал, как Христос явился ему, пока он, стоя на коленях, искал тапочки? «Приют свободы и простодушия», – скажет о Ротонде Аполлинер. Поскольку встреча Ахматовой и Модильяни никак не задокументирована, устроить ее в Ротонде, наверное, не такой уж абсурдный вариант.

Куда бы они ни пошли, ни один, ни другая не остаются незамеченными.

На первый взгляд Модильяни не отличается выдающейся внешностью. Подобно Пикассо, ростом он не больше метра и шестидесяти пяти сантиметров. Но какой магнетизм в его правильных чертах лица! Анна выделяется, напротив, благодаря высокому росту и худобе, которая делает поэтессу еще стройнее. «Волнующая женщина, а для обычного мужчины – колдунья», – заметит в стихах Гумилев. И все-таки она нежная, будто цветок из оранжереи. По взглядам, которые Анна бросает вокруг себя, Модильяни понимает, что она иностранка. По ее манере вслушиваться в речь тоже все ясно: когда эти французы научатся говорить медленнее? Что она делает в Париже?

Модильяни пытается прийти в себя после потрясения. Он знает, кем Ахматова не является: она не модель, не проститутка, не простушка, не дама полусвета – все они шастают в Пасси и в Монсо. Королева. Слово находится само собой. Другого не найти. Чтобы взять себя в руки, Модильяни заказывает перно и возвращается к иностранке, созерцает ее знакомые черты: печальную и чувственную линию губ и странную горбинку на носу, будто у финикиянки. Модильяни любуется копной волос, четким профилем, идеально вылепленным ухом и отлично представляет себе, как изобразить королеву. Ему кажется, что рисовать ее можно бесконечно, наслаждаясь каждым божественным недостатком. «Мне не нужна женщина – производительница потомства, мне нужна женщина-мечта». Светило Ницше озаряет все важные моменты жизни Модильяни. Амедео восторгается философом, который вносит ясность в туманные мысли молодого художника. Еще перно, гарсон!

Кого видит Анна? Человека, изолированного от всех и отличающегося от всех чем-то, что выше его собственного понимания. Он одинок и обуреваем эмоциями, думает Анна, одинок так же, как она. Поэтесса отмечает шарм Амедео и пугается. Где Коля? Она пытается узреть в толпе гладкий череп, отблеск монокля, узкую спину, обтянутую темной тканью. Он ее муж вот уже полных две недели. Почему он не рядом с ней? Вчера ее это не волновало.

Одним махом Модильяни выпивает поданный ему алкоголь, но не чувствует привычного облегчения. Он ничего не чувствует. Его парализовало безумное желание подойти к Анне, поговорить с ней. Но о чем? О Петрарке, которого в Авиньоне перед монастырем Сент-Клер ослепила улыбка Лауры? О безумных надеждах художника, который видит перед собой создание, чей образ он бесконечно долго, страстно, с любовью и в муках творил? О желании жить, пробуждаемом чудесным видением? Пусть весь мир остановится! Пусть они останутся в мире одни!

«Надо сохранять спокойствие, это не игрушки», – думает художник. Он ловит ее взгляд, она не отводит глаза, не отступает, на этот раз она смотрит прямо на него, а он будто приближается к пропасти.

Внезапно Модильяни чуть не падает от головокружения – какой-то мужчина подходит к Анне и обращается к ней в той манере, что ни с какой не спутаешь. Поведение мужа и жены внешне очень сбивает с толку. Какое влияние этот лишенный обаяния тип имеет на музу Модильяни? Это яйцевидное холодное лицо. «Страусовое яйцо», – думает Модильяни.

В Ротонде никто долго не сидит на месте. У каждого есть

верный друг или друг на один день, готовый быть посредником. И вот герои уже друг перед другом, мужчины пометили свою территорию – итальянец говорит по-французски гораздо лучше русского. В Ротонде Моди чувствует себя как дома, неловкость зреет под невидимой скорлупой внешней сердечности. Анна, словно лань в день большой охоты, остается немного в стороне, прислушивается.

– Я скульптор. Я поэт. А вы, мадам, вы тоже?

– Моя жена пишет неплохие стихи, простите ее робость, она впервые в Париже, а французы имеют репутацию опасных людей.

– Я итальянец.

– Вы это говорите, чтобы меня успокоить?

– Вы любите Париж, мадам?

– Кто не любит Париж, месье?

– Париж – страшное место, поверьте мне, мадам, я живу здесь уже четыре года и знаю, о чем говорю.

– Санкт-Петербург тоже страшный город, города вообще безжалостны, месье, поэтому они так привлекательны, поэтому мы так стремимся в большие города – для того, чтобы они нас испытали и ожесточили.

– Я не хочу ожесточаться, мадам.

– Почему же?

– Ожесточение губит мечты, а я должен бережно хранить их.

В помещении шумно. Надо стоять очень близко, чтобы друг друга слышать, слишком жестикулировать нельзя, а то волнение даст о себе знать; как же сладостно читать признания во взглядах.

* * *

Анна вышла замуж всего тремя неделями ранее. Счастлива ли она? Чтобы узнать правду, надо подождать. Идеальных браков не бывает. Что сказать о ее союзе? Ревнует то один, то другой. Оба были замкнуты в адовом круге. Анна понимает, что в ее положении заводить любовника на стороне рискованно. К тому же итальянец заслуживает большего, чем просто флирт. Анна расправляет плечи. От известных эмоций у нее сводит горло.

Какой хаос царит в голове молодой поэтессы, когда она возвращается в пансион «Флоркен»? Понял ли Коля, что произошло у него на глазах? Относится ли он к тому роду мужей, которых раззадоривают измены? Вспоминает ли Анна, напрасно пытаясь побороть бессонницу, *его* жесты, возможно, все определившие и связавшие воедино? Вспоминает ли она музыку *его* голоса? Повторяет ли про себя его первую фразу, небрежную,

вибрирующую каждым звуком?

Об этой первой встрече с Модильяни Анна Ахматова странным образом умалчивает. Близкие друзья поэтессы Анатолий Найман и Лидия Чуковская расскажут в своих воспоминаниях, что Ахматова редко упоминала Модильяни на публике. Когда же о нем все-таки заходила речь, Ахматова говорила об Амедео не в прошедшем времени, будто о призраке, а словно о дорогом человеке, с которым в любую минуту можно пообщаться. В такие минуты эмоции, которые Анна обыкновенно сдерживала, захлестывали ее волной.

* * *

В течение следующих дней Модильяни и Ахматова будут находить способы видеться. Наедине ли? Неизвестно. Об этом Ахматова скажет лишь: «В 1910 году мы почти не встречались».

* * *

В первые дни июня 1910 года пришло время возвращаться в Россию. Во время пребывания в Париже Коля познакомился с Сергеем Маковским, посредственным поэтом, но строгим критиком, способным назвать стихи Александра Блока грамматически неправильными. Маковский считается самым элегантным мужчиной в Санкт-Петербурге: никто не носит более высоких воротничков и сверкающей обуви. Идеальным пробором он обязан брильянтину, который покупает в Париже. Анна презирает этого нарцисса, но ни слова не говорит, когда на Восточном вокзале Гумилев предлагает поехать с ним в одном купе. Еще годом ранее Гумилев с Маковским затеяли издавать литературный журнал, и теперь появившиеся на горизонте крупные инвестиции могли способствовать его успеху. Гумилев не из тех, кто долго терпит поражение, – в мире его фантазий эфемерный журнал «Сириус» исчезает, уступая место амбициозному изданию под названием «Аполлон», в издание которого согласился вложить деньги сын одного из торговцев чаем. Гумилев надеется, что вместе с Маковским в роли главного редактора ему удастся сделать из «Аполлона» военное орудие для своей поэтической борьбы. Название журнала говорит само за себя: греческий рационализм против бреда агонизирующего символизма.

Пока два литератора обсуждают грядущую славу, молчаливая

Анна, сидя в уголке, проигрывает в голове уже знакомую и дорогую сердцу мелодию голоса: во время последней встречи, когда взаимный интерес уже проявился и признания, облеченные в те или иные перифразы, были сделаны, прекрасный итальянец просит у Анны ее русский адрес. «Не волнуйтесь», – прибавляет он. Она краснеет, суетится, наконец, находит ручку. Сердце екает. Анна вдруг вспоминает о грохоте волн Черного моря, о непокорной девчушке, которой она была так недавно, и эта самая сумасбродная девочка заставляет зрелую Ахматову совершить непоправимый поступок. Согнувшись над листком бумаги и глядя Анне через плечо, Модильяни читает адрес. Девушка удивляется. Неужто он знает кириллицу? «Немного», – говорит он и упоминает имя русского скульптора, которому симпатизирует: Архипенко работает с пустым пространством по-особенному; когда только начинаешь ваять, из всего следует извлекать урок. Анна в упор смотрит на человека, которого именует своей слабостью. Сдержит ли он слово? Придут ли ей письма из Парижа? Мужчины часто расточают обещания, а женщины потом разочаровываются.

Она не разочаруется.

«В 1910 году мы почти не встречались. Но он писал мне всю зиму. Некоторые его слова врезались в мою память, например: «Вы во мне будто наваждение».

* * *

Что стало с этими письмами? Они не были опубликованы. В Париже я добыла адрес Натальи Крайневой, ведущего научного сотрудника Российской национальной библиотеки. Наталья много лет работала с частными архивами поэтессы и участвовала в подготовке значимых изданий Ахматовой в России. Мы обменялись электронными письмами, и Наталья выразила желание мне посодействовать. Я тут же купила билет на самолет в надежде получить ответы на все вопросы. Наталья Крайнева убила мою надежду пасмурным питерским утром. С письмами Модильяни пришлось попрощаться. Все указывало на то, что Ахматова сожгла их в период массовых арестов, последовавший за убийством Кирова в декабре 1934 года.

Репрессии были в разгаре. В 1935 году, 27 октября, двадцатитрехлетний сын Анны Ахматовой Лев Николаевич Гумилев оказался под арестом вместе с Николаем Пуниным. Что с ними собирались сделать? Предвещал ли их арест скорую расправу и над самой Ахматовой? Первый муж, поэт Николай

Гумилев, расстрелянный в 1921 году по обвинению в монархистском заговоре; поведение и манеры знатной дамы; связи с иностранцами; компрометирующая дружба – у Ахматовой было все, чтобы не понравиться главе государства. Ночью 16 мая 1934 года, оказавшись проездом в Москве, Ахматова присутствовала при аресте Осипа Мандельштама. Обыск проводился в комнате, которую Мандельштам занимал со своей женой Надеждой, тремя агентами НКВД – грубо, жестко, жестоко, по-хамски они грабили дом, перерывали вещи, резали обложки книг в поисках непонятно чего, топтали одни рукописи, другие, признанные подозрительными, брали с собой в качестве улик: воспоминания обостряли страх. Жизнь в России 1930-х годов сопровождалась постоянным страхом. В воспоминаниях об Ахматовой Надежда Мандельштам напишет: «Из того, что с нами было, самое основное и сильное, это страх и его производное – мерзкое чувство позора и полной беспомощности. Этого и вспоминать не надо, «это» всегда с нами. Мы признались друг другу, что «это» оказалось сильнее любви и ревности, сильнее всех человеческих чувств, доставшихся на нашу долю. С самых первых дней, когда мы были еще храбрыми, до конца пятидесятых годов страх заглушал в нас все, чем обычно живут люди, и за каждую минуту просвета мы платили ночным бредом – наяву и во сне».

Наталья Крайнева работала среди нагромождений старинных книг и рукописей. Меня она устроила за маленьким столиком у окна. Стоило лишь слегка приподнять голову, и передо мной – арки Гостиного двора, на углу которого познакомились Ахматова и Гумилев. Вид Гостиного двора навеивал грезы. Все давно исчезло, прошло, хоть и оставило след, но я выбивалась из сил, по крайней мере, эмоционально, чтобы возродить несуществующее.

На туристическом автобусе я отправилась в Царское Село. Рядом со статуей Пушкина меня ждал императорский лицей, где мальчик Гумилев читал свои первые стихи мэтру Анненскому. Липы по-прежнему обрамляли аккуратные опушки цветущих скверов, но дом № 63 на Малой улице, куда молодые поэты вернулись в лоно семьи после путешествия, квартира на втором этаже, которую я видела на фотографии, – ничто не сохранилось.

a jamais[42]. Pour toujours. Навсегда. Всегда. По-русски эти выражения почти одинаковы, по-французски схожи, но парадоксальным образом. Я думала о мудрости языка, о хитрости и, как в ловушке, чувствовала себя то спокойной, то подавленной.

За два дня до отъезда, по совету Натальи, я села на трамвай и доехала до дома № 25 по Таврической улице, расположенной в

шикарном квартале Петербурга. На фасаде здания красовалась табличка, а на ней – надпись о том, что последний этаж когда-то занимала «Башня» поэта Вячеслава Иванова, место встреч высшего петербургского общества 1910-х годов, как объяснила мне Наталья. Каждую среду с полуночи и до рассвета глава русского символизма проводил поэтические состязания в своем литературном салоне. Атмосфера царила пьянящая и напряженная, скажут потом его бывшие участники.

Трамвай высадил меня на углу английского парка. Вдоль его оград катились волны событий февраля 1917 года; чуть дальше – пруд и несколько посетителей, палладиевы колонны Таврического дворца, резиденции первых Советов. Пролетарская эпопея меня мало интересовала. Я думала об июне 1910 года, о воспоминаниях закаленной Парижем Анны, зрелой Анны, которая, быть может, прогуливалась здесь, видела те же фасады, что и я, и мечтала о будущем.

Ожидание

Писательство не украшает. Литературные салоны привлекают лишь тех, кто не занимается литературой. Эйфорические сборища бумагомарателей, если смотреть на них в упор, а не с башни замка «Большого Мольна», оказываются иллюзией; если же смотреть изнутри – разочарованием: низость, ревность, зависть, сделки с совестью – словом, то же, что и везде. Мистагог[43] с Таврической улицы, одновременно желчный и медово-сахарный, то приласкает, то укусит – глава русских символистов в Петербурге владеет искусством светского перевоплощения в совершенстве. Он ни на кого не похож, у него редкие волосы, очень высокий выпуклый лоб – вот-вот взорвется – и черные перчатки, камуфлирующие хроническую экзему. Похож на церковника, но «нет в нем благости, мудрости, одно лишь притворство», – скажет Ахматова. Интриган? Может быть, но как театрально он обставляет свои ночные среды! Канделябры по углам, античные фрески, графины с бордо, скатерти с вышивкой. Очевидец назовет это зрелище декадентским Римом: «Мы не жили, мы созерцали все лучшее, что было в мире, ни одно слово нас не пугало: в душе мы оставались циниками и развратниками, в реальности вели себя вяло и по сторонам смотрели с безразличием. Мы были предвестниками революции, мы подрывали собственные традиции, безжалостно и основательно, со злостью, мы отчаянно и дерзко рушили старое, перекидывая мосты в будущее. И в то же время наша энергия словно угасала, мы чувствовали, что нам грозит вымирание, *исчезание*, распад, забвение. Короче говоря, мы знали, что нам крышка…»

Восхваления того, что не горит в огне, временной вечности, невидимого рая – требовали амбиции символистов. А в 1890 году под влиянием философа-мистика Соловьева появилась группа противников утилитарной прозы Некрасова и некоторых других поэтов: последователи Рембо и Малларме страстно желали «изменить жизнь» и создать «тотальную литературу». Иванов ставил знак равенства между поэтом и священником, считал, что каждое стихотворение должно выходить за рамки литературы и открывать Вселенную. Поэзия была для него мостиком в бесконечность.

Двадцать лет спустя идея себя исчерпала. В Москве Брюсов работает с поэзией как с лабораторной крысой; в Санкт-Петербурге Гиппиус и ее верный Мережковский подчиняют поэзию политической борьбе. Журнал «Весы», распространявший в России магию Редона, Гурмона и Гюисманса, перестал

выходить. На его обломках процветает «Аполлон». «Аполлон? Неинтересный и снобистский журнал!» – скажет Александр Блок. Может, и снобистский, но не безынтересный для тех, кто мечтает реформировать поэзию.

Молодые главные редакторы «Аполлона», Гумилев и Мандельштам, жаждут такой поэзии, которая встанет современному им миру поперек горла, схватит за хвост пространство с его шумами, формами и тяжестью. Теперь добыча поэзии не невыразимое, а вполне реальное. Неисправимая серьезность, ненужные ассоциации себя изжили, их место должны занять точные меткие слова, которые уложат наповал – словно камни.

На одном вечере в «Башне» Гумилев разражается враждебной речью в адрес Иванова, который критикует метафоры из только что прочитанного Николаем стихотворения. Признать свои ошибки? Лучше смерть! Обращаясь к цензору, чья корона стремительно слетает с головы, Гумилев говорит, что будет выслушивать критику лишь одной четверки: Вийона, Готье, Рабле и Шекспира.

Анна присутствует при скандале, словно немая тень мужа.

В эту эпоху она еще не воспринимается роковой женщиной-сфинксом, какой ее запомнят. Ни длинной челки, которую страх распрямил, словно хлыст – каторжника, ни черного колье, ни шали, ни кимоно. Наверное, тогда она одета в простое светлое платье. Девичьи косы ниспадают до поясницы. И все-таки на сфинкса она смутно похожа. «Высокая, тонкая, молчаливая, очень бледная, с печальной морщинкой около рта», – по описанию Маковского. Едва выйдя замуж, она уже выглядит уставшей, разочарованной супругой.

А как ее видит Гумилев? Заявляет ли он во всеуслышание, что его жена пишет реалистичные стихи в духе современного веяния? Или, будучи стратегом, да еще в сетях славы, он приберегает похвалы на потом, на будущее, когда Ахматова окончательно отдалится от мужа и напечатает свой первый сборник? Изящные литературные безделушки не делают человека поэтом, важно его мировосприятие.

Охотник за головами, Вячеслав Великий, очаровывает Анну – возможно, своей искренней жесткостью – в ночь ее первого выступления в «Башне» 13 июня 1910 года.

Хозяин вечера задает ритуальный вопрос: «Вы пишете стихи?» Она отвечает «да», и ее умоляют что-нибудь почитать. Эту премьеру, как первую пробу, Анна запомнит надолго: «Какой глубокий романтизм!» – насмешливо и пафосно воскликнул Вячеслав Иванов. Я не сразу уловила его иронию».

Слишком много эмоций, кровь в висках стучит, все аплодируют, усаживают Анну в кресло: ноги у нее подкашиваются. Лишь на следующий день в Царском Селе, в доме, который приходилось делить с родственниками, не смеющими упрекнуть поэтессу в меланхоличности, ведь они и сами хороши, разражается гром.

Невыносимо писать и думать, постоянно чувствуя себя отодвинутой в сторону, отброшенной, ущемленной по половому признаку!

Что же делать?

Сопротивляться.

Писать.

Столетие вызрело, и не только благодаря новым поэтическим школам, захватившим и очаровавшим мир, но и благодаря новому поколению литературных див. Они не музы и не мадонны! Не роковые женщины, не свихнувшиеся жены, выписывающие мужей в черном цвете чернил, не скандальные служанки! Делу Черубины де Габриак, широко освещенному в петербургской прессе, всего год, но Анна до сих пор глубоко его переживает.

* * *

Все началось в сентябре 1909 года, когда в редакцию журнала «Аполлон» прислали конверт с черной печатью. Внутри были стихи и письмо, начертанное по-французски на листке надушенной бумаги. Внизу стояла подпись: Черубина де Габриак. Никто не слыхал этого имени, и Маковский предположил, что незнакомка – аристократических кровей. В ходе переписки загадочная поэтесса очаровывает Маковского до такой степени, что он объявляет: наконец-то он влюбился и к тому же в гения! Подборка из двенадцати стихотворений, опубликованная на страницах «Аполлона», вызвала всеобщий интерес. Постепенно призрак поэтессы-аристократки стал идолом и законодателем литературной моды. Таинственную деву превозносили, цитировали, пытались разгадать. Лишь некоторые посвященные знали, что стихи, по выражению Иванова, «надиктованные мистическим Эросом», на самом деле принадлежали Максимилиану Волошину и его соучастнице – Елизавете Дмитриевой.

Анна шапочно знакома с этой скромной преподавательницей истории и с трудом может вообразить, что бедная хромая девушка, краснеющая по поводу и без повода, в 1908 году

познакомилась в Париже с Гумилевым и воспылала к нему страстью – говорили, что даже ребеночек родился, но помер во младенчестве. Влюбившись в великана-Волошина, Елизавета Дмитриева стала распускать слухи о том, что ревнивый Гумилев, почувствовав себя брошенным, принялся мстить и настраивать против нее общество. Однажды в ноябре 1909 года во время собрания редакции «Аполлона» Волошин подбежал к Гумилеву и дал ему пощечину. «Достоевский прав: звук пощечины действительно влажный», – заметил Анненский, чтобы нарушить тишину. Гумилев вскоре потребовал реванша. Два пистолета с гладким стволом подошли бы, даже если пришлось бы умереть глупой смертью, как Пушкин, и в том же месте, где Дантес сразил его роковым выстрелом.

К счастью или так было задумано, оба стрелка промахнулись. Зинаида Гиппиус с привычной коварной усмешкой скажет: два средненьких поэта, якобы уставших от жизни и смелых лишь на бумаге.

Анна наблюдала фарс вблизи. Розыгрыш ее задел и заставил задуматься о собственном предназначении: талантливая женщина сумела так успешно всех надуть – пример для подражания!

В то же время в Москве другая пылкая натура на три года младше Ахматовой заканчивала свой первый стихотворный сборник.

* * *

В 1910 году в стране, переживающей уход из жизни Толстого, выходит книга с эпиграфом из Наполеона: «Миром правит воображение». Сборник посвящен памяти блестящей Марии Башкирцевой и называется «Вечерний альбом». Его автора, Марину Цветаеву, и «невероятно интимный характер» ее сочинений восхваляет в Москве Брюсов.

Спустя месяц в статье Максимилиана Волошина, воспевающей женский лиризм, свободный от великих идей и поз, а потому более интересный, нежели мужской, автор приводит целый список достойных поэтесс. Анна прочитывает в нем имя Марины Цветаевой, но не свое.

* * *

Четыре недели в Париже не сотрешь из памяти, не расскажешь, но их можно спрятать внутри себя, словно военную

тайну, и в них можно раствориться. Когда человек чахнет, это видно не всем. Многие видят лишь привлекательную оболочку, коралловые перчатки, зонтик с ручкой из слоновой кости, новые духи, более смелые, чем предыдущие, походку от бедра – парижские штучки. Ваше несовпадение с окружающей реальностью бросается в глаза. В семье мужа вас называют парижанкой. Парижанка не выходит на улицу, не попрыскав за ухом духами «Идеаль» от Убигана, не уронив пару капель благовонья на венозный рисунок запястья, но никогда не рассказывает о Париже.

Говорить о Париже с теми, кто туда не попадет, пустая трата времени. Писать о Париже? Анна не в состоянии. Писать о кафе на Монпарнасе, о прогулке по бульвару Распай, о встрече с художником, замкнутым в своем благородстве и одиночестве, равнозначно стриптизу.

Анна запирает Амедео в тайной комнате.

Ничто не должно сбить ее с писательского пути. Каждое утро поэтесса повторяет это заклинание, мечтая лишь об одном: ухватить неуловимую реальность за хвост.

Замечаю все как новое.
Влажно пахнут тополя.
Я молчу. Молчу, готовая
Снова стать тобой, земля[44].

Спустя пять лет, проведенных между Киевом, Черным морем и набережными Невы, взлелеять радость узнавания маленького городка, покинутого в подростковом возрасте. Понять и передать ощущение *исчезания* мест, распада связей.

На землю саван тягостный возложен,
Торжественно гудят колокола,
И снова дух смятен и потревожен
Истомной скукой Царского Села.
Пять лет прошло. Здесь все мертво и немо,
Как будто мира наступил конец.
Как навсегда исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец[45].

Описать раннее угасание брака, равнодушие, уступающее место волнению, проницательность, которая вытесняет наивность.

Ива на небе пустом распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой[46].

22 сентября Гумилев собирает вещи.

Он едет в Абиссинию через Турцию, и на лице его сияет улыбка завоевателя. Стать Шекспиром не получилось, и нет иного выхода, кроме как возомнить себя Рембо. Он уезжает, она остается, он нетерпелив, она напряжена. Чего ждать от долгой разлуки? Помощи в разрешении противоречий и подтверждении чувств, которые брак только запутал? Супружеские отношения расстраиваются: сегодня он не ощущает себя любимым, завтра – она. Что же делать? Расстаться? Ее трясет от этой мысли. После развода пятью годами ранее Инна, мать Ахматовой, отрезала себя от мира. Чего хочет Анна? Пока что просто писать.

Творчество – ее единственная радость.

И все-таки необходимо одобрение извне. Одобрение кого-то сурового и великого. Кто мог бы почитать ее стихи, пока охотник на хищников в отъезде? Скорее всего, Валерий Брюсов, бывший редактор «Весов», работающий теперь в «Русской мысли». Коля полностью доверяет его мнению, ведь глава московских символистов оказался первым читателем парижских текстов о жирафе и кенгуру. При возникновении малейших сомнений Коля обращается к Брюсову.

Однажды в 1910 году ноябрьским днем Анна отправляет Брюсову четыре стихотворения из «Белой стаи». В письме, обращенном к Брюсову, Анна просит поэта быть беспощадным: «Я была бы Вам очень благодарна, если бы Вы сказали, стоит ли мне продолжать заниматься поэзией. Заранее прошу простить за беспокойство». Какова же была реакция автора «Демона самоубийства»? Иронизировал ли он, подобно Иванову, над странными женскими амбициями?

Анна ждет ответа десять лет.

В начале 1920-х годов, когда врожденный оппортунизм заставит Брюсова вступить в партию большевиков, он, назначенный главой Союза русских поэтов, унизит Ахматову как только сможет: «Женщины-поэты способны говорить лишь о любви и о страсти, другие темы для них остаются неподъемными, об этом свидетельствует пример Анны Ахматовой…» Вот и первый орудийный залп, предвестник бесконечной травли, чья цель – заткнуть «свихнувшуюся аристократку, полумонашенку, полупроститутку» – ярко характеризует новых руководителей

государства.

* * *

В 1910 году идеи большевизма еще не всецело захватили Россию. Власть Николая II, пошатнувшаяся в связи с мятежами и брожением в обществе, все больше опирается на тайную полицию; оппозиционеры либо в тюрьмах, либо в ссылках – в Цюрихе, в Льеже или, как Ленин, в Париже. Отец пролетарской революции живет в трехкомнатной квартирке на улице Мари-Роз рядом с Орлеанскими воротами. Выбрал ли он этот адрес из-за близости к кофейням Монпарнаса, местам встреч столичной богемы? Стукачи из охранки докладывают о присутствии агитатора в «Клозери де Лила», в «Ле Дом» и в дальнем зале «Ротонды». Известно, что рабочие активно навещают коммунистического лидера. Прошел слух о том, что Ленин сотрудничает с русским правительством. Художникам и деятелям искусства, которых он кормит и поит, все равно; кредиты возобновляются каждую неделю, тарелки не пустеют, как в гостеприимном доме, – так обстоят дела в «Ротонде», и потому ресторан никогда не теряет своей клиентуры. Модильяни приходит каждый вечер или почти с охапкой бумаги под мышкой. Видел ли он Ленина? Предлагал ли нарисовать его за пять франков?

Религия мазка.

Стены мастерской в доме номер 14 по улице Фальгьер увешаны рисунками. Настоящие джунгли портретов, меланхоличных и чувственных.

Всякий раз, выходя на улицу, Модильяни словно отправляется на охоту. Какое-нибудь лицо привлекает его внимание, и он за него цепляется. Метод всегда один и тот же: сначала нос, воздвигнутый одним движением карандаша, затем глаза, левый, правый, рот и в довершение всего контур лица. Когда Модильяни в «Ротонде» встречается с астрологом и ловким портретистом Конрадом Мориканом, тот восклицает: «Взгляните на Модильяни в работе – это же настоящее представление!» Концентрация или усилие? Модильяни высовывает язык, гримасничает, его прекрасное лицо искажается до неузнаваемости. Народ вокруг может забавляться и паясничать сколько угодно, Модильяни – в себе.

Рисовать, рвать рисунки и снова рисовать, и снова рвать, приниматься за работу вновь и вновь. Больше он не притрагивается ни к кистям, ни к холстам. Прощание с живописью? Он не знает. Он следует инстинкту, инстинкт

идеальная форма ума, прочел он где-то. Ницше по-прежнему служит ему компасом: быть себе хозяином и скульптором самого себя.

В Фальгьер он самый дерзкий, самый смелый, самый веселый, если работа клеится, самый упертый. Начиная с месяца мая, его радость связана лишь с одним лицом. Лицом печальной королевы.

Наваждение теперь лишь одно. Все женщины, которых Амедео встречает, кажутся ему похожими на суровых ангелов, на королев, безутешных из-за утраты королевства.

Модильяни вживается в эту грусть.

Делает рану все более глубокой.

Зафиксировать боль в определенной форме – такова ли задача скульптора?

Модильяни знает лишь одно: он обуреваем той же энергией, что и четыре года назад. Если работать в заданном ритме, то через несколько месяцев на полу возникнут шесть или семь каменных голов. Шесть или семь вариантов одной сущности.

С мая он нашептывает ее имя: Анна.

И все инструменты скульптора с самого утра скандируют: Анна.

«Вы во мне будто наваждение», – он осмелился сделать признание в письме.

Они переписываются по-французски. Он знает язык лучше, чем она. Лингвистическое превосходство и расстояние позволяют ему произносить фразы, на которые иначе он не решился бы: «Я держу Вашу голову в руках и осыпаю поцелуями».

Она внушает ему безумные мысли. Их необъяснимая близость напоминает близость звезд на одной орбите. Если бы страх показаться навязчивым его не останавливал, он писал бы каждый день. Он говорил бы ей о меланхолии высших существ, о своей грусти, о том, как его выручает гашиш, о безутешности; если бы не гордыня латинянина, Модильяни процитировал бы ей Верлена, чьи стихи в последнее время превратились для него в мантру:

> Я часто вижу сон, пленительный и странный:
> Мне снится женщина. Ее не знаю я,
> Но с ней мы связаны любовью постоянной,
> И ей, лишь ей одной дано понять меня[47].

Амедео мог бы писать Анне в любое время дня и ночи, но сдерживает себя, вместо этого он ваяет; ваять – почти то же, что писать ей.

Он работает на свежем воздухе, как каменщики, которым

завидует: они не требуют от камня невозможного, лишь твердости и долговечности. Модильяни доверяет открытому пространству – ветру и дождю. Деревья ведь не растут под крышей?

Головы Амедео обладают своей силой.

«Иератические», – говорят те, кого останавливают странная кривизна носа, загадка сомкнутого рта; «архаические», – добавляют иные, всюду видящие африканское искусство. Лишь Модильяни способен оценить нежную грацию своего любимого создания.

Целый лес скульптур, голов, которые он однажды выставит все вместе как неразделимый ансамбль. Такова идея Модильяни. И если он осуществит задуманное, презрению и равнодушию в отношении его работы придет конец.

С наступлением сумерек он наполняет ведро водой и медленно поливает головы, словно заботливый садовник – цветы. Вид струящейся по камню воды прогоняет тоску.

Если днем была хорошая погода, Модильяни любит созерцать головы в лучах закатного солнца.

Он моргает.

Камень превращается в золото.

* * *

Вот и пугающая ночь. В мастерскую проникает холод. У Модильяни новый приступ кашля. «Просто от пыли», – думает он. Отринуть тоску, прогнать демона печали, взять инструменты и ваять без устали. Амедео смотрит на свои сухие руки. Тишину нарушают голоса. Голос доктора, предсказывающего худшее, взволнованный голос матери, жалобный голос больного, который просит воды. Вылечиться от страхов этого ребенка? Невозможно. Бациллы побеждены, но ужас болезни, воспоминания о духах матери, склонившейся над постелью, о бессонных ночах, о призывах без ответа, о том, как сгущались тени вокруг кровати.

Избавиться от страха помогают либо шумные пьяные вечеринки с компанией друзей, либо привычное одиночество, знакомый ритуал, возвращение блудного сына в дом воспоминаний. В Ливорно в гостиной стоял семисвечник. Чем заменить его? Обыкновенными свечами – когда они зажигались, над ними тихо читали псалмы. Импровизировали, старались. Один из случайных посетителей Фальгьер вспомнит о свече, приделанной ко лбу статуи, будто факел.

* * *

Одной встречи достаточно, чтобы вспыхнула надежда. Достаточно уже того, что встреча произошла. Это утешает. Это вдохновляет и придает сил. Возможность нового свидания мыслится как способ перекроить мир и судьбу, увидеть себя самого в лучшем свете.

Между сентябрем 1910 года и мартом 1911-го Анна Ахматова пишет беспрестанно, у нее небывалый творческий подъем, позже она охарактеризует его так: «Поток строк из ниоткуда. Искать. Находить. Терять. Постоянно чувствовать, что держишь смысл за кончик хвоста». Около тридцати стихотворений, созданных во время путешествия Гумилева по Африке, не обладают глубиной и мощью «Поэмы без героя» или «Северных элегий». В 1910–1911 годах Анне еще не мерещится царская ложа в театре несчастий и утрат, Аид пока что посетил лишь сестер Ахматовой: Ирину, ушедшую в 1892 году в четырехлетнем возрасте, и драгоценную Инну, старшую в семье, умершую от туберкулеза в двадцать два года – тогда же, в 1905-м, развелись Горенко. Использовать ли смерти близких в качестве волшебного удобрения, от которого так безудержно растут стихи? Анна воздерживается. Из целомудрия, из прозорливости, из осторожности. На Таврической улице молодую поэтессу ждут гиены, она знает, что для новых игр им нужны новые жертвы.

В том, что касается начала поэтической карьеры, Анна твердо настроена не следовать моде, ни парижской, ни петербургской – истерика не для нее. Нужно искать свою интонацию. Ирония, которой пропитаны стихи Анненского, – одна из возможных приправ. Учитель Коли практически становится ее собственным учителем. Она покупает новый сборник Анненского «Кипарисовый ларец» и утверждает, будто читает его каждое утро, причесывая волосы. Ей нравится казаться ветреной, ведь на самом деле она никогда не была слишком серьезной и замкнутой в себе. Анна ставит голос, испытывает сердце, но избыток чувств и пафос не по ней. О любви девушка говорит вполголоса:

Дверь полуоткрыта,
Веют липы сладко…
На столе забыты
Хлыстик и перчатка.

Несколько строк – и вот вам целый роман.

Круг от лампы желтый…
Шорохам внимаю.
Отчего ушел ты?
Я не понимаю…[48]

Растерянность для Ахматовой не только состояние души, а пространственная категория – неправильное расположение предметов.

Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки…[49]

Первые читатели Ахматовой поражены и покорены оригинальной манерой обращения с обычными словами – Анна словно чудотворец-ювелир, по-новому работающий с бриллиантами и оправой.

В феврале 1911 года Анна пишет по стихотворению каждый день. Иногда на Таврической улице она их читает. Иванов и компания слушают внимательно. Они больше не насмехаются и раздумывают: стоит ли наконец серьезно отнестись к этой высокой бледной девушке? Затем следует первая публикация стихотворения «Старый портрет» в журнале, посвященном культуре. Анна отвергает фамилию мужа, девичью фамилию и берет фамилию дальней татарской родственницы по материнской линии – татарской принцессы, по ее замечанию (кстати, идея была подсказана отцом поэтессы, который, в силу непосвященности, тесно связывал поэзию и декаданс). Хочешь быть поэтом, моя девочка? Хорошо, но только не под нашей фамилией.

Псевдоним кажется провокацией: в слове «Ахматова» ясно слышится корень «Ахмед» – это кораническое имя, с одной стороны, напоминает о Древней Руси, подчиненной завоевателям, с другой – служит Анне своего рода доспехами.

Написанное несколькими месяцами ранее, в Киеве, в гостях у матери, стихотворение «Старый портрет» о даме, заключенной в овальную раму под охраной негра, отличается особой интонацией. Анна посвящает его Александре Экстер, талантливой художнице, чьи пурпурные шляпы с широкими мягкими полями, полотна кубистского толка и маленькие белые собачки беспрестанно путешествуют между Киевом и Парижем. К чему такое посвящение? Следует ли толковать его как общественное заявление: Анна отказывается от статуса декоративных дам и отныне примыкает к армии интеллектуалок и победительниц?

Пока в тысячах километров от Анны Коля борется с неуверенностью в себе, охотясь на львов, молодая поэтесса пытается изгнать другого, не менее страшного хищника: чувство незащищенности. Прошло то время, когда девушка покорно и стыдливо ждала своего звездного часа. Отныне ей предстоит сражаться за то, чего она заслуживает, бесстрашно отправлять в журналы стихи, которыми гордится, терпеть первые неудачи, извлекать уроки.

Анна пишет все больше и больше. В феврале, семнадцатого числа, закончено стихотворение «Дверь полуоткрыта», семнадцатого марта оно выходит в журнале «Гаудеамус». Это – последняя неделя спокойного творчества: двадцать пятого марта с тяжелыми тюками, набитыми масками, копьями и драгоценностями, возвращается конкистадор.

* * *

Весна 1911 года в Париже дождливая и пасмурная, за исключением узкого промежутка между набережной Орсе и мостом Альма. Двадцать первого апреля над иллюзорными оранжереями 27-го «Салона Независимых», собравшего в основном серые, скучные и вполне академические работы, взошла яркая звезда кубизма. Для сторонних любопытных – полотна зала номер 41 – Ле Фоконье, Робер Делоне, Метзингер, Глейзес, Леже – всего лишь «кубический маразм», но уже с момента открытия выставки авторитетное издание «Интранзижан» в статье от двадцать первого апреля напечатало статью о рождении нового искусства: «Здесь, однако, больше, чем где-либо (…) находит отражение эпоха, современный стиль, к которому мы должны стремиться, который ищем, не зная, где искать. Вскоре заговорят о влиянии Пикассо на развитие этого нового искусства. Однако влияние самых выдающихся эпох расцвета искусства во Франции и в Италии ничуть не умаляет оригинальности новых художников». Это искусство пока пребывает в полузачаточном состоянии, оно еще не раскрылось, но его острые углы, недостатки постепенно сгладятся, предсказывает Аполлинер. Читал ли Модильяни статью в «Интранзижан»? Быть может, дифирамбы поэта, дружившего с Пикассо, всколыхнули горькие воспоминания? Накануне, в 1910 году, когда на «Салоне Независимых» появились шесть полотен Модильяни, Аполлинер похвалил их, назвал Амедео художником будущего, но это никак не повлияло на продажи – ни одну картину не купили. Пытался ли Амедео уберечь себя от унижения 26-го «Салона»?

Присутствовал ли он в зале № 41 в качестве простого зрителя? Обострил ли успех кубистов его чувство одиночества?

Модильяни не разделяет восторга Аполлинера относительно кубистов. Бывшие товарищи Амедео из Бато-Лавуар, с Монмартра, считают себя последователями Сезанна, но на самом деле ставят его концепцию с ног на голову. Сезанн рисовал сферы и кубы, чтобы изобразить яблоко – каким оно представлялось его глазу. Для мастеров, восхваляемых Аполлинером, яблоко лишь предлог.

Слишком много рассудочности и мало эмоций для вечно влюбленного в красоту. Слишком много теории и мало жизни. Слишком много поисков и мало правдоподобных ответов. А ведь нет ничего прекраснее правды и ничего правдивее жизни – Бранкузи это отлично понимает.

Модильяни ему близок, но не считает себя его учеником. Он не считает себя учеником кого-либо.

В ответном письме к брату Умберто, который спрашивает, чем Модильяни намерен заниматься, Амедео пишет кратко: работать и выставляться. В один прекрасный день, утверждает он, обращаясь к своему обожаемому брату, достойному восхищения, к этому гуманисту, способному любить ближнего и отдаваться любви без остатка и со всей нежностью, в один прекрасный день Модильяни всех заставит признать свой талант.

Следующая выставка намечается на октябрь, было бы недурно еще раз попытать счастья. Если междусобойчик «Салона» оценит его головы и согласится выставить их все разом, это будет первый шаг к успеху.

* * *

«Ты поэт! Настоящий поэт! – Коля обнимает жену за плечи. Анна только что дала ему прочесть стихи, написанные в его отсутствие. – Как же они хороши! Надо составить сборник!»

До конца ли Гумилев чистосердечен в своем энтузиазме?

Можно вообразить загорелого как никогда Гумилева, распаковывающего привезенные заморские дары: плотные ковры, еще несколько месяцев назад лежавшие у ног пастушек; мачете, с трудом выторгованные у деревенского старосты и искусно развешанные по стенам в проемах между окнами, за которыми еще не стаял последний снег. Диковинки должны упрочить репутацию поэта-путешественника. Но так ли безотказно сработает репутация, если славу все равно теперь придется делить? В погоне за поэтическим успехом Гумилев отныне не

единственный. Впрочем, он сам этого хотел. Кто посоветовал Анне изучить безукоризненную метрику Анненского? Кто открыл ей французский Парнас? Кто привел ее в журнал «Аполлон»?

Поэт-муж потрясен: пока его не было, муза сошла с пьедестала одиночества и любви и сделалась независимой – в жизни, как и в искусстве, заявив об этом, однако, весьма деликатно:

> Муза ушла по дороге,
> Осенней, узкой, крутой,
> И были смуглые ноги
> Обрызганы крупной росой[50].

Стихотворения, которые Анна читает мужу почти сквозь зубы, не имеют никакого отношения к наивной поэзии опиоманов. Гумилев волнуется: неужели ему суждено потерять принцессу, завоеванную с таким трудом?

На Таврической улице, куда Гумилев с супругой наконец является между двумя приступами малярии, страхи поэта оказываются не беспочвенными. Теперь Анна уже не просто украшение зала. Даже если бы она и вела себя, как раньше, это бы ничего не изменило. В «Башне», которую поэтесса посещала в отсутствие мужа, Ахматову, или «Гумильвицу», как ее называли отдельные желчные завистники, отныне уважают. «Царская походка, монументальность и грация, невероятное чувство собственного достоинства», – заметит очевидец.

Гумилев обнаруживает, что Ахматова сблизилась с поэтом, которого он очень уважает, – с Осипом Мандельштамом. Мандельштам моложе Гумилева на пять лет, родился в семье довольно состоятельного коммерсанта, ездил в Париж, ходил на лекции в Сорбонну и слушал Бергсона в Коллеж де Франс, затем продолжил образование в Германии, в Гейдельбергском университете. Взгляды Гумилева и Мандельштама совпадают по основным вопросам искусства, оба увлекаются Средневековьем и Античностью, оба не одобряют русский символизм, оба пытаются наделить слова акустической мощью. Оба поэта называют источниками вдохновения древнегреческие и древнеримские рыцарские романы. «Слова – это камни», – говорит нервный рыжий гений. Стихи Ахматовой производят на него большое впечатление. Она в каждое стихотворение будто вкладывает часть себя. И читает их, взвешивая каждую паузу. «Черный ангел на снегу» – так видит Ахматову Мандельштам. Робкая Анна завидует красноречию Мандельштама. В первый раз, когда они встретились четырнадцатого марта в «Башне» на вечере,

посвященном «Прометею» Скрябина, Анну заворожил силуэт канатоходца, нервические жесты и пылкость Мандельштама. А с какой иронией он высмеивал арьергард! В статье «О природе слова» Мандельштам писал, что символисты опечатали все слова, чтобы сохранить их исключительно литургический смысл[51].

«Поэтическое содружество может принести свои плоды, если взять ситуацию под контроль», – думает Гумилев. Двадцатого октября 1911 года в квартире поэта Сергея Городецкого, завсегдатая «Башни», рождается «Цех поэтов», тех самых, что воспевают розу не потому, что она символизирует желанное или потерянное целомудрие, но просто за ее красоту. «Зовите меня Ахматовой, – повторяет Анна, – теперь это мое имя».

Как тем временем поживает Блок? Он мечет гром и молнии. Принц невских берегов умирает от ревности и тревоги. Неужели троица «идиотов», как Блок именует председателей «Цеха поэтов», лишит его трона? Неужели его потеснит какая-то женщина со своими незначительными стихами? Когда в присутствии Блока говорят о молодой поэтессе, он исходит желчью: «Ахматова? Она пустышка…»

Таково состояние общества. А что с молодой парой после возвращения Гумилева? Из Африки он привозит жене великолепные украшения. Несколько сотен граммов серебра, чтобы искупить измены? «Вполне достаточно», – думает он. О письмах из Парижа он ничего не знает.

Можно вообразить специальный сундучок, в котором Анна хранит письма Модильяни; хитрости, к которым прибегает, чтобы контролировать почту. Какая буря бушует в ее голове? Слова, брошенные подобно игральным костям. Невероятное смятение. *Вы во мне будто наваждение. Я держу вашу голову в руках и покрываю поцелуями.* «Он писал мне всю зиму». А весной? Занятый подготовкой выставки, под которую скульптор Амадео Суза-Кардосо, знакомый из сите Фальгьер, обещал дать студию на улице Колонель-Комб, Модильяни перестает писать. Боится ли Анна, что ей нашли замену? Перечитывает ли она со слезами какое-нибудь из писем художника?

* * *

Фактов нет, остаются лишь вопросы.

Всего семь недель между возвращением Гумилева в Россию и новым отъездом Ахматовой в Париж. Семь мучительных недель. Семь недель молчания. По какому поводу? Взаимное охлаждение супругов? Невыносимая тяжесть бытия двух поэтов в одном

пространстве? Ревность Гумилева по отношению к восходящей звезде Ахматовой? Сергей Маковский склоняется к последнему. Однако сама поэтесса решительно отметает подобную версию в разговорах с Лидией Чуковской между 1938-м и 1962-м годами. «Ревновал ли первый муж? К моим воздыхателям – может быть, к моим стихам – никогда! Он всегда относился ко мне как к равной. «Ахматова в точности уловила движения женской души, все поэтессы должны учиться у нее», – писал Коля, когда мы уже расстались».

Кому верить? Папаше Мако, главной литературной гадюке Санкт-Петербурга, или Ахматовой, как святого почитавшей мужа, расстрелянного в 1921 году по обвинению в монархистском заговоре?

* * *

Из чемодана, снятого с полки шкафа в отсутствие мужа, выпадают случайно забытые предметы – черепаховый гребень и новенькая пара шнурков – они напоминают о послеполуденном часе на Елисейских Полях и мелком торговце, которому доставила такую радость покупка безделушек за десять су. Чемодан тоже еще новый, они с мужем собирали его вместе, теперь Анна собирает его одна, точно не зная, рушит ли она свое будущее или дает себе счастливый шанс.

Кучер, вызванный накануне, отвезет Ахматову на вокзал Царского Села утром в середине мая. Примерно в это же время годом ранее молодожены покинули Киев – город, где состоялась свадьба. Анна чувствует, что в ее жизни наступил новый этап. После развода Инна Горенко живет в тени, отдалившись от всех. Несколько дней Анна проводит в ее обществе. Мать, ретроградка, представляющая низы общества, предупреждает дочь: поездка в Париж только усугубит семейные проблемы. Что отвечает Ахматова этой осторожной женщине, сполна испившей горечи? Вспоминает ли Анна недавнее путешествие Гумилева в Африку? Говорит ли о равенстве в браке? Материнские призывы остаются лишь призывами. Двадцать первого мая 1911 года подруга Анны в Петербурге получает открытку, которую Ахматова пишет по пути из Киева в Париж.

Новая встреча

Сложно представить себе, чтобы возвращение Анны в Париж оказалось триумфальным. Женщина, которая гордится своей независимостью и торжеством смутных желаний, – героиня сексуальной революции. Но в 1911 году оставить родного мужа ради неизвестного художника без копейки денег лишь потому, что мечта о нем соответствует иллюзии какой-то лучшей жизни? Поступок Анны был равносилен прыжку в пропасть. Тревога огромна и тянет за собой целую вереницу разных страхов: страх ступить не на ту дорогу, страх иллюзий, непонимания, промаха, презрения, на которое обречена самая добропорядочная женщина, стоит ей только пойти навстречу своей страсти. И наконец, страх в неудачное время заявиться по адресу, звучащему в голове, как мантра. Застать Модильяни за работой. Увидеть «голову Антиноя», чьи контуры словно сами собой вырисовывались на запотевшем стекле вагонного окна, и прочесть в «глазах с золотыми искрами» не радость, но замешательство мужчины перед нежданной гостьей.

Поезд останавливается. К купе подходит носильщик, чтобы взять чемодан, вот и все, теперь надо следовать за ним.

* * *

Любовный фатум превращает человека в раба – Анна хорошо выучила это правило благодаря Гумилеву и на его примере, в Париже ей бы не хотелось испытывать судьбу. Никакого культа любви, беречь душу от сентиментальных потрясений, даже если сердце будет стучать чаще привычного. Способна ли Анна на такой самоконтроль? В стихах – да.

Под застекленной крышей, светящейся от солнца, отважная Ахматова движется вослед своему чемодану, словно канатоходец по острию ножа.

Фатум. От него не спрячешься, и все-таки можно хитрить, словно с тюремной камерой, на стене которой заключенный рисует большую открытую дверь.

На эспланаде меньше такси, чем в прошлом году. В Париже готовится забастовка в связи с ростом цен на топливо, объясняет носильщик и по привычке ведет Анну к фиакру, с водителем которого у него договоренность. Анна разворачивает бумажку, сложенную и просунутую в перчатку.

– Улица Флерюс! На углу с бульваром Распай.

Пансион в нескольких минутах ходьбы от «Ротонды» и Люксембургского сада, его любимого островка зелени – рассказал он как-то в одном из писем, которое Анна читала и перечитывала, заранее создавая в голове будущие воспоминания – о прогулке, о разговоре, о неожиданном поцелуе.

У кого же достать адрес?

На ум приходит имя русской художницы на семь лет старше Ахматовой, ловко выскочившей замуж за богатого адвоката из Киева и наведывающейся в Париж, когда заблагорассудится. На Монпарнасе у нее есть не только мастерская на улице Буассонад, но и свои приверженцы, а также компания друзей, она часто бывает в сите Фальгьер, у Бранкузи и у Архипенко, в парижском салоне Елизаветы Эпштейн, русской ученицы Матисса, подруги Кандинского и Делоне. У Сержа Фера, спонсирующего журнал «Ле Суаре де Пари», которым непродолжительное время руководил Аполлинер, художница объясняет, какой свободой Кончаловский, Фальк, Ларионов и Наталья Гончарова, члены группы «Бубновый валет», отличаются от Сезанна и фовистов. Авангард – моя колыбель, говорит художница, настолько заметная в парижских кругах, что в 1910 году ее просят организовать русский зал на «Салоне Независимых». Александру Экстер можно было бы назвать самой парижской из русских деятелей искусства, если бы это определение уже не закрепилось за Волошиным.

Анна посвятила Экстер свое первое опубликованное стихотворение «Старый портрет», написанное в октябре 1910 года в Киеве. Александра открыла там школу искусств наподобие академии Гранд Шомьер, которую посещала в 1907 году в свой первый парижский период. Надежда Хазина, в будущем госпожа Мандельштам, училась там изображать перспективу. Анна Ахматова, без сомнений, восхищалась удивительной Экстер, считавшей своим идолом Артюра Рембо. «Невозможно оценить Пикассо, если не понимаешь автора «Озарений», поэтического эквивалента мощной солнечной энергии, присущей искусству славянских народов», – объясняла Александра ученикам.

В 1911 году, когда Анна возвращается в Париж, Экстер начинает серию «Парижские мосты», которая будет занимать ее много месяцев. Вне всяких сомнений, это ее лучший цикл. Аполлинер высоко оценит легкость и высокомерие, с которыми бывшая ученица Фернана Леже перемелет законы кубизма, чтобы создать оригинальные полотна. Например, «Мост Севр»: все выверено, продумано, кажется, ни прибавить, ни убавить: стоит лишить мост арки или отражения в воде, и конструкция рухнет. Но в то же время – какая свобода в этом видении пейзажа!

Сменив дорожные ботинки на элегантные туфли с ремешком

вокруг щиколотки, более соответствующие образу, который Ахматова намерена создать себе в парижском обществе, Анна направляется в дом № 10 по улице Буассонад и застает Экстер за работой. Нравится ли ей еще не дорисованное полотно подруги? Видит ли Ахматова в гигантском массиве, соединяющем два берега под серым заводским небом, символ любви, способной преодолеть непреодолимое – расстояние, языковой барьер, пропасть, в которую вниз головой летит замужняя женщина?

* * *

– Он знает, что ты приехала?

– Еще нет.

– Чего ты ждешь?

– А если я ему больше не нужна? Он писал мне всю зиму, а потом вдруг перестал.

– Что тебе от него нужно?

– Его доверие.

– И все?

– Хочу быть ему другом. И чтобы он оставался моим.

– «Это друг, не брат и не враг. Друг. Это любовь, ни в беде, ни на беду. Любовь. Воздух и мир не по каплям и крохам. Жизнь»[52].

– Откуда это?

– Из Рембо! А теперь беги. И не возвращайся, пока не найдешь его.

* * *

В одиннадцатилетнем возрасте, написав первое стихотворение, Анна уже знала, что рано или поздно слава к ней придет. Однажды, возвращаясь с прогулки под липами Царского Села, Анна заявила матери, что когда-нибудь на их доме повесят табличку с ее именем. В ответ, вместо того чтобы улыбнуться нахальному, но безобидному детскому оптимизму, Инна Эразмовна Горенко сделала дочери выговор. Хоть Анна и родилась на закате столетия, сулившего женщинам лучшее будущее, самоуверенность могла ее погубить. Если не заслужить одобрения Господнего, можно угодить прямо к дьяволу на сковороду. Анна молчала, оставляя мать при ее верованиях. Мечты маленькой Ахматовой о славе принимались в штыки, будто постыдные желания. Тем не менее, прогуливаясь по улицам, Анна всегда искала глазами невидимую мемориальную

доску.

Спустя десять лет слава улыбнулась другой девушке – Марине Цветаевой. Ей было всего восемнадцать, а критики уже с таким восторгом говорили о первом сборнике юной поэтессы, напечатанном в Москве осенью 1910 года. Брюсов, Волошин, Кузьмин и – о ревность! – сам Коля восхваляли «Вечерний альбом». В журнале «Аполлон» Гумилев отметил «легкое безумство и неожиданное упоение самыми незначительными мелочами повседневности», которыми радовала молодая москвичка. Какое оскорбление для Анны, и как обидно осознать, что твои стихи ценит лишь группа невротиков, снующая между Таврической улицей и Невским проспектом.

* * *

В Париже Анна ощущает небывалую легкость. Она избегает витрин книжных магазинов и лелеет в себе сладостное ожидание скорой встречи. Грациозная, благородная, ослепительная красота Анны преображает улицы Парижа. Натан Альтман будет долго вспоминать о первой встрече с Ахматовой на Монпарнасе: красивая, дьявольски элегантная женщина, которую он принял за парижанку и чью внешность смачно прокомментировал, полагая, что русский язык таинственной незнакомке чужд. Тогда Анна развернулась и послала наглеца подальше. Так завязалась дружба. Спустя четыре года в Санкт-Петербурге молодой художник из украинской Винницы убедит уже стяжавшую славу поэтессу позировать ему в ярко-синем платье и лимонно-желтой шали. Это не просто портрет: это манифест будущего.

* * *

Одиночество обостряет зрение. Находясь где-либо в одиночестве, замечаешь куда больше, нежели путешествуя вдвоем и, так или иначе, отвлекаясь друг на друга. Париж, постаревший на год, кажется Анне новым. Высокомерие автомобилей и омнибусов с мотором, более многочисленных, чем на ее памяти; рекламная какофония, Пьеро, выплевывающий огонь, фавн Коньяк-Мартель, зебра Чинзано, женщина-мутант, превращающаяся то в цветок, то в дым, то в дирижабль. Платья с корсетами вытесняются широкими брюками, в моду входит яркая помада. Галереи искусств. Аппетиты знаменитых торговцев. Чудесные полотна и мазня на одних и тех же стенах галерей,

закусочных и баров. Академии на каждом углу, художники, понаехавшие кто откуда, светские львы, наивные простачки, бунтующие романтики и похотливые дамские угодники. В воспоминаниях Ахматова коротко резюмирует воинственную гегемонию живописи над другими видами искусств: «Живопись абсорбировала французскую поэзию».

* * *

Анна, ведомая ладаном пышной сирени на дорогах к Парижу кладбищ и парков. Анна в Люксембургском саду, наблюдающая деревенских коз, пасущихся вокруг большого фонтана, игроков в крокет, трогательных детишек в морской форме. Анна, старающаяся скрыть на лице выражение нетерпеливого ожидания – ожидания итальянца с профилем молодого грека. Анна, вскакивающая с места перед внушительным затылком прохожего в коричневой куртке любителя абсента и в красном платке, привлекательно повязанном – как у ковбоя. Анна, томящаяся в тени розового лаврового дерева желанием принадлежать *ему*.

* * *

«Штуковина» – так теперь Модильяни называет голову, о которую обдирает руки. Слово «скульптура» он отныне избегает. Скульптура – мой демон, мое безумие, мой крест.

В 1904 году в Риме перед Микеланджело, во Флоренции у подножия скульптурной группы «Любовь» Тино ди Камаино, затем в Карраре в мраморных карьерах Модильяни верил в возможное равенство с Богом. На его языке это означало – стать скульптором. В двадцать лет все кажется возможным. Столько тогда было Модильяни? Он дорожил своими руками, своим волнением, своим взглядом на мир. Если Амедео охватывала тоска, он умел извлечь из нее выгоду. «Тоска для художника хороший материал, – думал он, – тоска как мрамор». «Каждое пройденное испытание укрепляет волю, – писал Модильяни другу Оскару Гилья. – Человек, не умеющий переработать свою энергию в новые желания и почти нового индивида, готового разрушить все старое и гнилое, дабы утвердить себя, не человек, а простой буржуа, бакалейщик, если тебе угодно».

Спустя семь лет тоска начинает питать страх завышенных требований к самому себе. Руки стали совсем сухими, легкие раздражены. Проклятая пыль! Она ослабляет организм перед

упрямством судьбы. Ни продаж, ни дельных продавцов. А головы во дворе множатся. Соревнование с Богом занимает слишком много места и не приносит денег. Одни издевки.

Зрители-невежды смеются все громче.

Что же делать? Сложить инструменты? Поставить крест на давней мечте? Это было бы окончательное прощание с тем, что Модильяни считал самым подлинным в себе.

* * *

Анна представляла себе разные варианты встречи – в «Ротонде», на многолюдной, а потому безопасной террасе, среди подвыпившего народа; или в уединенном месте, где-то в разрисованных стенах сите Фальгьер. Поэтесса воображала Модильяни очень сдержанным или, наоборот, эмоциональным; и, поскольку сердце влюбленной женщины всегда с удовольствием себя изводит, Анна нарисовала в своей голове страшный сценарий: отношения Модильяни с другой женщиной, фатальной конкуренткой, то ли более доступной, то ли более хитрой, чем Ахматова. Последние редкие и весьма лаконичные письма, полученные из Парижа в конце зимы, настроили Анну на мрачный лад, обострили ее страх и эгоизм. Ей даже в голову не приходило, что весной 1911 года Модильяни охватила невероятная тоска.

Люди не умеют любить.

Прихорашиваясь перед зеркалом, Анна продумывает каждую деталь – ни безвкусных побрякушек и оборок, ни завитков на голове. «Простота и строгость монахини, осанка королевы». Такой Ахматову воспринимали в салонах Санкт-Петербурга, и такой она хотела казаться в Париже.

Под каким небом поэтесса и художник встретились вновь? В каком свете? В воспоминаниях Ахматова ограничилась малым: «Я заметила в нем большие перемены, когда мы увиделись в 1911 году. Он сильно похудел и помрачнел».

Эти две строчки взяты из французского перевода воспоминаний Ахматовой о Модильяни, опубликованных издательством Harpo &. Книжечка совсем тоненькая: шестнадцать страниц, напечатанных на линотипе, из них всего восемь – текст Ахматовой. Восемь маленьких буев, подумала я, разделяя страницы ножом для бумаги, восемь неустойчивых плавучих шариков, хрупкая флотилия в огромном океане жизни, которая для каждого из нас так или иначе превращается в тюрьму, где царит диктатура и осторожность и страх мало-помалу становятся

единым сплавом дрожащей души.

Прорезывая коротким лезвием зернистую бумагу, я вспоминала слова Надежды Мандельштам о страхе как о психологическом фундаменте эпохи Ахматовой: «Чистые руки с большими пальцами, снующие в наших карманах, снисходительное выражение лиц ночных гостей, мутные глаза и веки, покрасневшие от недостатка сна (…) и какой-то болван на дежурстве под окнами – притаился не ради слежки, а просто чтобы окончательно запугать». Теперь нам известно: у рабов советского режима, титулованных и не имеющих звания, формировались предчувствие беды и постоянный страх – сказать лишнее слово, сделать шаг в сторону было смерти подобно. Постепенно у людей отнимали волю. В 1958 году страх владел умами. Сталин умер пять лет назад, но сталинизм жил, и, хотя двумя годами ранее во время Двадцатого съезда коммунистической партии Хрущев изобличил сталинский режим, его речь, обращенная к элите партии, была скрыта от народа. Спаситель, прославленный по другую сторону железного занавеса, оказался новым отравленным яблоком, протянутым советской бабой-ягой.

* * *

Рассудительная Ахматова воспринимает происходящие в стране события как подарок судьбы, когда в 1958 году, в Болшево, в доме отдыха для сердечников, садится писать воспоминания о Модильяни. Поэтесса только что узнала о выходе во Франции полнометражного фильма о предпоследнем годе жизни художника: «Монпарнас 19» Жака Беккера с Жераром Филипом в главной роли. Видела ли Анна хоть один фильм режиссера «Золотой каски» и «Дамских тряпок»? Знает ли Анна, что Беккер был ассистентом Жана Ренуара[53], в юности дружил с сыном Поля Сезанна и получил пальмовую ветвь в Каннах? Фильм, снятый по мотивам популярного романа Мишеля Жорж-Мишеля «Монпарнасцы», мелодрама, в которой основная интрига связана с крахом Модильяни и его переживаниями последних лет, кажется Ахматовой кощунством, неуважением памяти художника. Даже не посмотрев кино, Анна чувствует, что от фильма несет дешевой сентиментальностью. Слухи о том, что в фильме есть сцены пьянок и оргий, доводят поэтессу до исступления. Пьянки! Ахматова ни разу не видела Модильяни пьяным! Оргии! Этот мужчина был рыцарем на белом коне! Кто мог изобразить его истинное лицо? Лишь Ахматова.

* * *

Ахматовой шестьдесят девять лет. В Москве выходит антология ее стихотворений, чересчур тоненькая, на ее взгляд, и собравшая слишком много старых стихов; из нового выбрали наименее компрометирующие тексты. Неполноценная картина творчества, короче говоря, двойное унижение. Ахматовой не позволяют подарить читателям самое дорогое ее сердцу, с горечью жалуется поэтесса. Ни один из сборников, которые Анна хотела бы опубликовать, не прошли испытание цензурой: ни «Вечер» (1912), ни «Чётки» (1914), ни «Белая стая» (1917), ни «Подорожник» (1921), ни Anno Domini (1921). Библиотеки просто снимают книги с полок, словно их никогда и не было.

Антология разочаровывает лишь саму Ахматову: первый тираж раскупают за несколько дней. Поклонники заваливают поэтессу письмами по большей части банального содержания. Подруга Ахматовой, помогая разбирать почту, удивляется: это и есть слава?

Ахматова пожимает плечами.

Принимать признания тяжело.

«Мы читаем ваши стихи как молитвы. В них жизнь, сила и грация, благодаря которым мы остаемся людьми.

Мы слушаем вас, и кажется, будто нет ни слов, ни рифм, будто с нами говорит ваша душа».

Принимать чужое сочувствие и добрые пожелания – тоже нелегко.

«Мы бы так хотели вам помочь, но как и чем? Ваша судьба – вечность, мы же – никто, и наши жизни так сложны».

Как найти в себе силы, взять перо и ответить на непомерные ожидания одних и других?

А ведь еще надо принимать молодых поэтов. Смотреть на них и видеть на лицах шок первого впечатления: мол, мы собирались в гости к Сапфо, а нас встречает двойник Екатерины II в тапочках!

Лишь немногие свидетели прошлого до сих пор любуются красотой Анны, лишь призраки потерянной эпохи, словно слепые, не обращают внимания на то, что время сделало с Ахматовой, превратив ее в бесформенную старуху, прячущую уродливое тело под безразмерным платьем. Реноме сохранилось, но каждое утро перед зеркалом в углу комнаты Анна видит катастрофу, и каждый вечер, сидя на кровати и снимая шерстяные чулки, она с отвращением смотрит на свои толстые икры – словно они принадлежат кому-то другому.

Шестьдесят девять лет. А ведь в девятилетнем возрасте она уже принимала последнее причастие, лежа в постели с

туберкулезом!

Ахматовой не верится, что она дожила до таких седин. Впрочем, Анна не питает иллюзий относительно своего состояния, ее постоянно наблюдает кардиолог, лекарства всегда под рукой. И все равно сердце отказывает.

Смерть Ахматовой станет поводом для настоящей битвы. Университетские чины, журналисты, критики, свидетели последних дней жизни поэтессы – все набросятся на ее архивы, разработают планы публикаций и завоевания противоположного лагеря. Чтобы защитить себя, необходимо скрупулезно и внимательно разобраться со всеми бумагами, отсортировать и спрятать воспоминания, не предназначенные для широкой публики, и поделиться наименее компрометирующими сочинениями.

Такому раскладу поэтесса подчиняет свое перо и разум. Однако память существует по собственным законам.

* * *

Я убедилась в этом, когда распорядительница фонда Ахматовой в Национальной библиотеке Санкт-Петербурга открыла для меня папку с рукописью воспоминаний о Модильяни. Несколько листков, мелко исписанных карандашом. Мое внимание сразу же привлекла одна мелочь: в тексте было много исправлений, но ни одно не относилось к закавыченным репликам художника. Слова, которые Модильяни говорил Анне в Лувре, в Люксембургском саду, на холме Сент-Женевьев, в лабиринте улочек вокруг Пантеона, крики восторга или радости встречи, все соображения, которыми он делился весной 1911 года, будучи уверенным, что его поймут, спустя сорок семь лет неузнаваемая обрюзгшая матрона помнила наизусть.

* * *

«Мы понимаем друг друга».

«Лишь вы можете это осуществить».

«Драгоценные камни не должны быть искусственными».

«Я забыл о том, что в центре есть остров». (Во время ночной прогулки по Парижу.)

«Гюго – это чересчур высокопарно».

«Я забыл вам сказать, что я еврей».

«Сматываемся отсюда!»

«Будь мила и добра».

В уединении в Болшево «специалистка по любви», как называют Ахматову медсестры, ведет тайную войну с прошлым, из которого, будто из камня, надо высечь воспоминания, не ободрав при этом ладони. Необходимы осторожность хищника и хладнокровие палача. Но какое чудо – писать о периоде жизни, на который уже никакое событие, никакое действие, никакие передряги не могут повлиять! Наслаждение тотальным контролем над самим собой и миром прошлого. Подолгу обдумывая каждую фразу, Ахматова восхищается тем, что запрещает себе называть «удачей».

Писать, писать еще и еще. Продлевать наслаждение и спокойствие. Внезапно воспоминание, словно крошечная песчинка, волею Господа отколовшаяся от большого камня, нарушает спокойствие. Внезапно тишину и негу пронзает запретное воспоминание: звук голоса Модильяни.

Изменчивый голос – то мягкий, то жесткий, голос жителя то Ливорно, то Парижа. Голос, чья нежная интонация очаровывала, голос, который по ночам звучал глубоко, будто сама тьма.

Ахматова снова берет карандаш.

На ум ей приходит фраза.

Перед этой фразой осторожность улетучивается, бумага словно призывает: «Запиши!»

И Анна записывает.

* * *

«Мы понимаем друг друга». Модильяни недаром восторгается – это действительно чудо. Ведь они с Ахматовой могли не встретиться, остаться незнакомцами на маскараде или светском рауте, и тогда бы не узнали, что такое абсолютное доверие.

Чудо – слышать от другого человека собственные слова, мысли, вызревшие в одинаковом одиночестве, в одинаковой тишине.

«Лишь вы можете это осуществить». Разве подобное заявление не стоит любых клятв и объятий? Разве не кладет к ногам женщины весь мир мужчина, одним возгласом вырвавший женщину из забвения? «Лишь вы можете это осуществить»: лишь вы можете придать мне уверенности, лишь вы можете развеять мою тревогу, лишь вы можете сделать мое одиночество еще более глубоким и одновременно желанным, лишь вы можете испугать смерть.

Чудо – наблюдать за тем, как мысли тают одна за другой,

вырисовываются новые силуэты, новые воспоминания приходят дружным строем. Фантастический танец воображения и памяти прославляет призраков прошлого. Люди словно материализуются: они снова могут ходить и дышать, говорить – в комнате на улице Флерюс, если вы позволите, конечно, или на антресолях, если вам вздумается поиграть в богемную жизнь и не смутят прогорклый запах штукатурки, сырость и тараканы. Но не будем отдаваться обыденным желаниям, останемся фокусниками, канатоходцами, обманем физиологию, восстанем против невозможного, поможем мужчине стать лучшим другом женщины, а женщине – осязаемым раем мужчины.

Вечер так нежен, и в этой части города, в театре камней и листвы – отрада. Поговорим еще немного, утолим жажду общения, расскажем об открытиях, вдохновивших лишь нас, поведайте то, чего я сам о себе не знаю, и позвольте мне угадать обещания, данные давным-давно вашим лучшим друзьям – игрушкам.

Анна Ахматова и Модильяни в Люксембургском саду, в укрытии – под огромным зонтиком. Они наслаждаются друг другом, улыбаются всему: дождю, который гонит детишек под деревья, старикам, гадающим, по какой аллее «король поэтов» отправился обедать. Модильяни приводит Анну к памятнику Верлену. Его поставили недавно.

– Верх уродства!

Этот крик прозвучал по-французски. Модильяни не говорил по-русски, Ахматова – по-итальянски. Поэтому общались они на неуклюжем французском. Завоевать абсолютное доверие на неродном языке – особая задача. Она предполагает особую точность мышления, но кроме того – движение ощупью, игру воображения, изобретательность, без которой неизбежны недомолвки, и, конечно, язык тела, гримасы, взгляды, жесты, смех, загадочные улыбки: «Мы понимаем друг друга!»

Иногда слова не приходят на ум, и тогда достаешь из кармана книгу. Поэзия способна создавать вокруг людей что-то вроде магического круга, пещеры мудреца, шалаша, какой может соорудить ребенок в глубине сада. Почитаем вместе, дорогая Анна, стихи Верлена. Амбруаз Воллар собирается напечатать их с гравюрами Мориса Дени. Почитаем из «Мудрости»:

Неужто лжет мой сон невинный
О том, что души неразлучны,
О том, что чувства их созвучны,
О том, что две любви едины?[54]

Прочтем эти стихи, родим их прямо из тишины в один голос! Чувствуете ли вы то же, что и я? Преграды между нами и внутри нас необходимо разрушить: лишь вы способны это осуществить!

* * *

Благодаря Модильяни Анна вновь осознала, что поэзия может доставлять физическое удовольствие, какими бы целомудренными ни были стихи. Когда голоса звучат в унисон, тела на скамейке сближаются – нет ничего более сладостного. Поэзия – это то, чем делятся, Анна забыла простую истину. Вот что значит общаться с неправильными людьми. В Санкт-Петербурге в «Башне» Иванова для поэтов его круга поэзия – спорт, повод для мелкого и крупного соперничества. Блок против Гумилева, Гумилев против Иванова, Кузьмин против Мережковского. Гиппиус со всеми и против всех. Гнилой дух Петербурга. Каждый в погоне за славой, за таким признанием и такими привилегиями, каких не будет у собратьев по перу. Все стремятся очаровать прекрасных сирен и сделать карьеру среди акул; вечер за вечером слушая льстивые лживые речи, привыкаешь к ним, постепенно впитываешь миазмы.

Модильяни считает поэзию живым источником, который охлаждает горячую голову и освежает взгляд на мир. Поэзия спасительна и духовна. Самый литературно образованный «монпарнасец» делает из книг Данте, Лотреамона[55] и Верлена своего рода часословы.

* * *

Единственный недочет в поэтическом обмене между Ахматовой и Модильяни: Амедео расстраивается, что не понимает стихотворений своей подруги, в которых, по его мнению, наверняка таятся чудеса.

Но зачем вам мои русские стихи? Мы и так друг друга понимаем. Чего же еще желать?

Мужчины всегда желают большего.

* * *

Начать все с самого начала и не спешить, рефлексировать – как йоги, которые задерживают дыхание и мысленно дышат

каждым органом по очереди, нельзя поддаться беспорядочным эмоциям и потеряться в тумане страстей.

Надо спокойно продолжить рассказ из дальнего зала ресторанчика. Мы не думали, что увидимся вновь на этом свете. Никто из нас не пытался что-либо предпринять, и все-таки в наших жестах сквозило разочарование. Когда я говорил вам о египетских залах Лувра, ваши глаза туманились. Вы напоминаете царицу Каромаму из двадцать второй династии, сказал я, умолчав об остальном. Стоило предлагать вам убедиться в этом вместе? Вы приехали в Париж не одна. Я вынул блокнот и оценил мягкость контуров вашей прически. Вы почувствовали мой ласкающий взгляд? Вы склонили голову.

В другом конце зала, за кофеваркой, кассирша и какой-то офицер мечтали о своем, а ваш муж строил из себя важную птицу. Эти либералы-мужья нужны исключительно для проформы, и нет ничего хуже такого брака, подумал я. Его крутой затылок. Абсурдная форма черепа. Я отмечал все. В моей голове внезапно возникла и рассеялась идея дуэли, из которой я выхожу победителем, готовым завоевать вас. Меня преследовали идиотские мысли. Перед вами я был словно перед королевой, существующей вне времени и пространства, я терялся, отдаваясь созерцанию наивысшей красоты. Меня охватывали дрожь, смятение, а затем радость, необъятная радость, безвыходная и чистая, не нуждающаяся в короновании объятиями.

Овладеть женщиной или нарисовать ее?

«Овладеть», – ответит обычный мужчина. Что же скажет художник? Страсть к женщине, которую рисуешь, никогда не угасает, напротив, она растет от одного рисунка к другому.

Продолжить рассказ в прежнем ритме – и вновь в ресторанчике на бульваре Монпарнас, где счастливый случай свел нас. На этот раз мы покинем «Ротонду» вместе, пройдем по улице Ренн, затем по улице Бонапарта. Здесь вы останавливались годом раньше, не правда ли? Вы говорили, что в то утро шел дождь. Я покачал головой: чертово небо, чертов свет, вечно ускользающий и отнюдь не милый моему итальянскому взору.

Левый берег заканчивается здесь. Вот Сена, отделяющая нас от убогих и беспечных фаланстеров галерей Правого берега. Этаких лабораторий вкуса, который приносил доход. Вы ведь знавали Воллара, Бернхейма, Дюран-Рюэля[56]? Среди их клиентов были русские миллионеры. Матисса коллекционировал какой-то богач из Москвы. «Что ж, пускай Матисс украшает особняки торговцев», – позволил я себе реплику. Поймите меня правильно, я не отношусь к Матиссу пренебрежительно. Движение и яркие цвета – очень в моде в наше время. Но я

смотрю вперед, меня интересует не столетие, а вечность. Вечно то, что меня возвышает и перед чем я становлюсь на колени: ваше лицо. Позвольте мне продолжить.

С той минуты, что я увидел ваше лицо, другие лица перестали для меня существовать, и ваше лицо сделалось моим творением.

Шучу ли я? Рядом с вами я всегда серьезен.

Осторожнее, Анна, здесь лужа, вы запачкаете свои красивые чулки. Ах, шелковые чулочки, драгоценные камни! Мне очень нравится ваше колье. Не говорите, откуда оно. Пойдемте к фараонам дворца Медичи, я покажу вам царицу из великой династии, о которой думал Создатель, ваяя ваше лицо. Египетский зал. Мой рай на берегах Сены. Если завтра удача отвернется от нас, если вы вдруг решите уехать в Россию, я буду утешаться, думая, что благодаря мне вы приблизились к самому красивому, что есть в Париже.

* * *

В середине 1960-х, когда речь заходила о том, что Ахматова оставит в качестве архивов и наследия, поэтесса раздражалась: «Какое еще наследие? Модильяни? Забирайте рисунок и проваливайте!» Анна, нарисованная Модильяни. Ахматова повсюду возила этот портрет за собой – из Москвы в Ленинград, на Фонтанку, и вешала там, где находила свободный клочок стены. Рисунок словно оберегал ее.

Профиль мечтательницы, сидящей на невидимом диване, задумчивая одалиска, напоминающая посетителям, что они явились в гости не абы к какой литературной даме. Афина с седыми волосами, которая с целью выживания устраивала немыслимые празднества на страницах книг, императрица, нежная по отношению к обездоленным, резкая с теми, кто ей докучал, удивительная женщина, живущая несколькими жизнями.

Изысканная путешественница, светская икона, свидетельница таинств.

«Единственный уцелевший рисунок из шестнадцати подаренных», – утверждала Анна. Что же стало с другими? Деликатный вопрос.

Когда Анне его задавали, она отвечала непринужденно. Остальные рисунки Моди? Они были с ней, когда она вернулась в Россию в 1911 году. Моди хотел, чтобы поэтесса развесила их по комнате, и она бы с удовольствием это сделала, но, увы, жизнь не предоставила ей «своей комнаты», как выражалась Вирджиния

Вулф.

– Пятнадцать рисунков? Исчезли в огне, – спокойно подытоживала Ахматова.

– В огне! Но кто их сжег и как?

Ахматова поднимала глаза. Ах, необразованная молодежь, еще не родившаяся на свет, когда Россия горела! Пожары 1918 года, поборы и бесчинства 1919 года, бесконечные беспорядки следующих лет, на кострах наша жизнь превращалась в пепел, их разжигали палачи и мы сами во избежание худших надругательств. Чистки 1930-х. Судебные процессы. Исчезновения. От страха кровь стыла в жилах. Мы не чувствовали ничего, кроме страха. Страх был единственным чувством, благодаря которому мы оставались людьми, понимаете? В итоге мы даже стали ценить страх. Впрочем, он заставлял трусить и прогибаться и лучших из нас.

Молодые люди кивали. «Трогательные и глупые», – с печалью думала Ахматова. Объяснять некоторые вещи бесполезно. Что ни скажи, окажешься злодеем – несправедливым по отношению к умершим, жестоким по отношению к живым.

Единственный выход – создать нерушимую, неопровержимую версию прошлого и ее придерживаться. Согласно своей теории, Анна утверждала, что пятнадцать рисунков Модильяни исчезли так или иначе. Порой она улыбалась, воображая, что некоторые рисунки использовали в качестве бумаги для самокруток. Сигареты из Модильяни, раскуриваемые красногвардейцами.

Анна умолкала, заполняла тишину необязательными жестами. Сигареты из Модильяни – что это? Черный юмор? Или быстрый сеанс экзорцизма?

Некоторые особо чувствительные люди, безутешные перед лицом чужой потери, донимали Анну вопросами относительно пятнадцати рисунков. Писал ли Модильяни с натуры? В мастерской? В Люксембургском саду? Узнавала ли Анна себя?

Поэтесса повышала голос: «У кого-нибудь есть сигарета?» Посетители задерживали дыхание. Полуприкрыв глаза, Анна наслаждалась своим авторитетом. Раньше у Ахматовой была молодость, красота, теперь – умудренность испытаниями.

«Я никогда не позировала для Модильяни. Никогда. Об этом и речь не заходила. Я не была его вдохновительницей или музой. Музы – для художников, лишенных темперамента, изобретение мужчин, стремящихся задушить творческий потенциал женщины.

Плотное кольцо одиночества, которое я видела вокруг него, наверное, связано с тем, что, в отличие от своих приятелей во главе с Пикассо, Модильяни не был охотником за юбками. Для многих мужчин страсть идет рука об руку с презрением, но

только не для Амедео. Мужчины, которые якобы любят женщин, на самом деле любят подчинять себе женщин. Любить женщину в принципе легко, каждый может просто полюбить, в этом нет ничего особенного. Но настоящее чувство, настоящий экстаз – любить женщину как личность, тебе равную. Вот это искусство. Модильяни относился ко мне как к равной, и я воспринимала его так же. Мы были равны во всем, в том числе – в ожидании.

В мае 1911 года я еще не опубликовала ни одного сборника, а Модильяни не продал ни одной картины. Все на Монпарнасе считали его гением, но никто не хотел покупать его полотна. Мы оба тогда лишь предчувствовали жизнь.

Как он меня рисовал?

По памяти. Это вас удивляет? У каждого художника свои методы. Модильяни, конечно, всегда рисовал по мотивам, но в моем присутствии лишь раз, когда я позировала ему в Лувре среди цариц и танцовщиц. Амедео просил меня стоять так, чтобы мой профиль совпадал с профилем какой-нибудь царицы, – лицо становилось участником творческого процесса, неким приспособлением, имеющим значение лишь для самого художника. Кого Модильяни рисовал? Живую Анну или воображаемую?

Он любил, когда я носила ожерелье из больших жемчужин и делала гладкую прическу. Он называл это «твой египетский стиль». Мое сходство с египетскими царицами поражало его, но не меня. Впрочем, я всего лишь поэт, скульпторы и художники видят мир иначе.

Чему я научилась у Моди? Быть может, именно этому: зрение обостряется благодаря внутреннему взору. Научиться видеть можно лишь самостоятельно».

* * *

Три золотых купола, презрительно взирающих на серость квартала, где преобладают цинк, чугун и строгий стиль. Между Монсо, Курсель и Терн, на границе 17-го и 8-го округов православная церковь, задуманная царем Александром I давным-давно, но построенная лишь спустя полвека в 1861 году: церковь Святого Александра Невского на улице Дарю. Будучи хорошо знакомым с «русской деревней» на Монпарнасе, Модильяни не стал дожидаться Анну, чтобы посетить неовизантийскую церковь, чья красота вызывала восторг лишь у православных. Амедео привлекали все места религиозного культа – там он успокаивался и черпал вдохновение: мечети, синагоги, католические церкви;

Модильяни нуждался в красоте, в мистическом чувстве, в сосредоточенности и тишине. На улице Дарю он был не раз, но появление Анны все изменило.

«Должна вас предупредить, что я утратила свою детскую веру», – сказала Анна, поправляя платок на голове. Правда ли это? Или русские до такой степени порабощены божественными силами, что неверие у них просто поза? Анна утверждает, что не верит, но тогда откуда внезапно напряжение и скованность в плечах? В церкви продают ломкие свечи из желтого воска. Анна покупает две свечи. Она выглядит так, словно внезапно выросла; ее лицо, обрамленное шелковым платком, на фоне суровой красоты икон кажется еще более значительным, чем в ином окружении. Богородица Умиление в окладе из потемневшего серебра. Ангелы-воители над адским огнем под толстым стеклом, отделанным бархатом. Это темное место не впускает в себя свет, словно свет способен вспугнуть молитвы. Полумрак – мыслитель его ценит, художника он пугает.

Модильяни слушает свое сердце. Отдает ли он живописи всего себя? Достиг ли он своего потолка? Глаза вспоминают изменчивый свет парижского неба и усилия, приложенные, чтобы запечатлеть его. Уловки света, его загадки, изобретательность – совладать со всем этим все равно что завоевать хитроумную обольстительницу. Быть может, стоит вернуться к полотнам. Снова заняться живописью, не забывая об уроках, которые преподал камень…

Пламя двух свечей Анны колеблется перед столиком с кружевной накидкой. «На нем иконы, подаренные церкви семьями в благодарность за Божью милость», – говорит Анна. Большинство икон средних размеров, некоторые – почти черные. Модильяни не собирался изучать иконы с профессиональной точки зрения, и все-таки удержаться он не может. Анна тем временем украдкой крестится.

Удивительно тонкая стилизация лиц. Роскошные складчатые ризы, из которых выглядывают руки аскетов. В иконах нет ничего сентиментального, они не внушают человеку поддельных эмоций, не отвлекают от созерцания божественного. Беллини[57] не мог удержаться и вечно рисовал святых дев с лицами своих любовниц, но мастеров иконописи интересует не плотская любовь, а как любовь воплощает и демонстрирует нам божественные силы.

Модильяни всегда прохладно относился к иконам и сердился на себя, тем не менее в этот раз что-то подогревает его интерес, он чувствует неожиданное возбуждение. Посмотри ближе, внимательнее, какая загадка таится в этих формах и цветах? Как линия первого плана начинает контур лица? Как цветы

раскрываются перед бескрайним небом? Если Амедео и вернется к живописи, то для того чтобы рисовать такие же неземные лица.

А вдруг возвращение к живописи возможно?

По взгляду Модильяни Анна понимает: произошло необыкновенное.

* * *

Помимо служб, церковь на улице Дарю открыта для посетителей только два часа в день. Второе воскресенье Троицыного дня, дневная служба проводится в честь всех святых земли Русской и рождества Иоанна Крестителя. Молоденькие блондиночки, серьезные, как нигде, складывают руки в молитве перед иконостасом. Я перехожу от одной иконы к другой. Где бы поставить свечку? Перед Богородицей, чей оклад только что поцеловала женщина в сандалиях? Я думаю о покойных родственниках, которых тронул бы мой визит в русскую церковь: о дедушке из Курска, о православной матери, я хотела бы посвятить им все мои мысли, но перед глазами то и дело встает Модильяни.

Тем же вечером я возвращаюсь к своим записям: портрет Поля Александра, выполненный на стыке 1911-го и 1912-го годов, ознаменовал возвращение Модильяни к живописи после встречи с Анной Ахматовой. Я открываю скупленные за несколько недель монографии, раскладываю их на полу, рассматриваю портреты один за другим, наконец дохожу до «Материнства» 1919 года.

Рыжая девушка, одетая по-крестьянски, – Жанна Эбютерн, которую Модильяни встретил в 1917 году в академии Колароссси. Поперек ее коленей лежит младенец, явно напоминающий Христа с полотен великих художников прошлого, – это девочка Джованна. Жанне Эбютерн было двадцать лет, когда она сделала Модильяни отцом. Вопиющая молодость, которую Модильяни не пытается скрыть, лишь придает портрету силы. Широкие планы оранжевого, охрового цвета, оттенка жженой земли подготавливают взгляд к алому и золотому, словно раскаленное солнце, фону. В ярко-голубых глазах читается меланхоличная нежность юной девушки, ставшей матерью. От этой картины веет покоем. Думал ли Модильяни об иконах, рисуя это золотое, охровое «Материнство»? Я знаю одно: окажись картина в церкви среди икон или в «красном углу» какого-нибудь дома, она не была бы лишней…

* * *

В 1906 году, чтобы оказаться в доме номер 13 по улице Равиньян, где Гертруду Стайн ждал Пикассо, спешащий запечатлеть ее уникальное величие, писательнице пришлось сесть на запряженный лошадьми омнибус, который соединял площадь Бланш с площадью Одеона. Целое путешествие! Пятью годами позже линия метро Север – Юг уже проложена через весь Париж. Работы потребовали больших усилий: пути предполагалось довести до Монмартра сквозь толщу песчаника, пронизанного пустотами. Чуть позже, когда появится необходимость открыть три новые станции, обнаружат несколько новых пустот. В связи с этим впоследствии план линии Север – Юг изменят.

Скорость, идол футуристов, переворачивает прежний уклад жизни столицы. Интенсивность движения на бульваре Распай меняет дух Монпарнаса, и все прощаются со старым миром, от которого устали, – об этом, присоединяясь к всеобщей усталости, пишет Аполлинер. На Монмартре мир тоже умирает. Улица Жюно, которую, несмотря на дебри виноградников и мельницы, можно преодолеть в два счета, вдруг начинает проявлять амбиции, свойственные престижным кварталам. Прощайте, лачужки Маки, где живописцы пророчили себе большое будущее.

Старые товарищи до сих пор проводят время у Сакре-Кёр, среди каменщиков, плотников и каменотесов, создающих базилику. Романо-византийскую колокольню высотой в девяносто четыре метра начали строить в 1875 году. Говорят, что красное вино на Монмартре стало более кислым, суп все еще дают бесплатно, но надолго ли хватит старых привычек, никто не знает. Еще говорят, что возводить базилику на месте гибели коммунаров – кощунство. Никакая архитектурная красота не воскресит умерших. Прекрасный белый камень никогда не смоет кровь, пролитую палачом Адольфом Тьером.

Рабочие говорят на профессиональном жаргоне. Обсуждают плотность древесины, равновесие объемов, давление сводов. Модильяни, как вечный ученик и труженик, остается связанным с этим братством мозолистых рук. Когда интеллектуальный шарм бульваров встает поперек горла, художник сбегает на Монмартр.

Однажды он предлагает Анне пойти вместе с ним.

Отправиться на фуникулере цвета «Шоколада Менье» было бы менее утомительно, особенно учитывая каблуки, но Моди предпочитает пешие прогулки.

Они обостряют зрение. Я просто в ярости от собственного зрения, шепчет он. Хотелось бы приставить себе глаза животного, обладающего сумеречным зрением. Кота? Гепарда? Летучей мыши? Шутит ли Амедео? Безумен ли он? С ним Анна никогда не знает, что к чему, и ей это нравится.

Навстречу идет карлица. Моди ей улыбается.

Анна думает: привлек бы ее этот человек настолько, будь он менее странным, менее молчаливым? Ее муж не умел молчать. Молчание – искусство. Анна вспоминает красноречивых ораторов, которыми восхищался и которых копировал Коля. Глубокие люди говорят мало. Слова легко слетают с языка у пьяниц, у соблазнителей, у льстецов. Болтовня – своего рода тирания по отношению к интеллекту. Книги способны искажать истину. А живопись? Где для живописца грань, за которой начинается лицемерие? Анна воздерживается от вопроса.

Моди вышагивает на приличном расстоянии от нее.

Кто сказал, что настоящий аристократизм предполагает наличие неразрывной цепочки связей?

Анна продолжает рефлексировать. Разговоры. Зачем они нужны, если люди понимают друг друга без слов? Вернувшись в Россию, она станет избегать общества краснобаев с берегов Невы, осядет в Царском Селе, обещает себе Анна. Поэзия тогда наполнится правдой жизни: вот забытый в комнате платок, вот след помады на стакане, вот покачиваются люстры.

Поймать реальность сачком, запереть в сундуке и выпустить на свет, лишь найдя точное слово.

Способна ли она на это? Да!

Анна берет под руку мужчину, с которым ей так хорошо.

Они остановились поесть луковый суп, слишком тяжелое блюдо для теплого сезона. Появление прекрасной пары под закоптелым от табака потолком замечают все. И все перешептываются. Чем эти двое отличаются от других? Сознают ли они свое превосходство, свой грядущий триумф? Их колени соприкасаются под столом, но не руки. Анна хочет доесть суп, Моди ее пригласил. Денег у него нет, она знает; то, как небрежно Амедео бросает монеты на стол, отражает его презрительное к ним отношение.

Пройдемся еще.

На улицах темнеет, вдали все окрашивается в голубовато-фиолетовые тона, небо бледное, а крыши серые, необычные фасады с орнаментами из искусственного мрамора и кирпичные стены тонут в сумерках. Но огромная базилика на фоне черноты выглядит еще белее, чем прежде.

Анна замедляет шаг. Моди берет ее за руку.

Теперь они бессмертны.

Анна дрожит, Моди волнуется.

– Вам не страшно?

– Страшно? Мне?

Они пересекают пустырь. Дальше – лабиринт притонов.

Фонари и сияющая газовым светом реклама. Кое-где небольшие поросли одуванчиков. Поблескивающая жидкость на мостовой – то ли кровь, то ли бензин. Тесные подозрительные лавки с низкими потолками; жилища, озаряемые тусклым светом одинокой лампы; громкие крики на первых этажах; лохани с мыльной водой; женщины с растрепанными волосами. Анна пытается запомнить все. «Вот он – настоящий Париж», – думает Ахматова.

* * *

Влюбленные шагают вперед, связанные друг с другом чем-то невидимым.

Не собственными чувствами.

Что-то неопределенное исходит от их жестов, разделяет мужчину и женщину, отдаляет их друг от друга. Они созерцают глицинии на старых стенах, прикасаются губами к розам, выбивающимся из-за ограды.

Сна ни в одном глазу. Радость и сон несовместны.

* * *

«Модильяни любил бродить по Парижу ночами, и частенько, услыхав его шаги на моей уснувшей улице, я выскакивала из-за стола, подходила к закрытому окну и сквозь жалюзи наблюдала за его тенью (…). Модильяни был единственным мужчиной в моей жизни, который мог оказаться под моими окнами посреди ночи. Я не возражала, ничего не говорила, и он не знал, что я смотрела на него сверху».

* * *

Контролировать чувства. Они сознательно пытались – вплоть до самого расставания. Анна помнила, что она замужем, и не за кем-то, а за поэтом Николаем Степановичем Гумилевым, соучредителем журнала «Аполлон», создателем «Цеха поэтов», лучшим читателем и советчиком Ахматовой. Модильяни тоже был женат – на своих молотках, резцах, кантовках, на еще не решенных проблемах молодости, препятствиях и горечи. В поведении Ахматовой и Модильяни не было ни малейшего цинизма или такой осторожности, которая умаляет значение

происходящего, была лишь разделенная на двоих печаль: оба знали, что находятся в самом начале своей творческой жизни, а потому встреча, какой бы невероятной она ни казалась, не должна никого из них сбить с пути.

Ясность ума приносит боль, не дает радости заполонить сознание. Горе от ума нагружает каждое мгновение результатами анализа реальности.

Получается целая интеллектуальная ширма.

Переизбыток уважения и достоинства.

Неразборчивый лепет сердца заглушается весомыми доводами рассудка. Модильяни и Ахматова спорят обо всем – не только об искусстве, но еще и об аэронавтике, которой увлекается Амедео. Двумя годами ранее, 25 июля 1909 года, Луи Блерио впервые пересек Ла-Манш на моноплане собственного изготовления, так «Блерио XI» открыл небо сорвиголовам. Французские пилоты геройствовали один за другим: капитан Белланже и его перелет Париж – Бордо за 8 часов 28 минут; пятиминутный полет пилота Лемартена и семерки его пассажиров на знаменитом моноплане, оснащенном 14 цилиндрами; наконец, Пьер Прие, перелетевший из Лондона в Париж всего за 3 часа 56 минут.

Модильяни восхищался этими борцами за мечту бесконечно, из Рима или с Капри бомбардировал письмами Оскара Гилья, своего товарища по школе Фаттори во Флоренции: «Мой страх меня стимулирует. Я жажду открыть новые формы, поставить новые вопросы, узреть новое искусство, дотронуться до прекрасного. Я чувствую оргазм, но этот оргазм лишь предвестник невероятной радости, за которой последует головокружительная беспрерывная активность ума».

Унять страх. Небесные рыцари подавали отличный пример. «Братья!» – думал о них Модильяни. Тестируя собственноручно сделанные парашюты, некоторые прыгали с первого этажа Эйфелевой башни. Многие так и не поднялись.

«Моя современница», – говорит Анна, радуясь, что родилась в один год со скандальной красавицей Эйфелевой башней. О красоте башни из пудлингового железа велись жаркие споры. Посаженная посреди пустынной эспланады Марсова поля, лишенной каруселей и звуков ярмарочной музыки, Эйфелева башня напоминает гигантский подсвечник, забытый у лилипутов шутником Гулливером. Модильяни иронизировал над кубистскими фантазиями, которые виделись в «трагическом светильнике» многим экспертам по анализу структуры, синтезированию и методичному разбору – в основном творчества Делоне и прочих художников современности, любимцев каждого

галериста.

Модильяни не хочет никакой современности. Что за туманный концепт? Какой самообман! «Единственное время, в котором существует искусство, – вечность», – твердит Амедео своей спутнице. В его экзальтированной интонации проскальзывают нотки ярости. Скрытое отчаяние? Где первопричина? В согласии? В утешении? Неужели все мужчины одинаковы, и в итоге все сводится к тому, что они ищут мать в любовнице?

В этом уже давно знакомом голосе Анна слышит не просто возмущение, но вопрос, чересчур глобальный для нее. «Это друг, не брат и не враг. Друг». Анна хочет остаться другом.

«Художник должен вести диалог со своей эпохой», – мягко замечает Ахматова. Идти в ногу со временем – не значит подчиняться ему, напротив, надо ухватиться за эпоху, сотворить из ее острых углов свою крепость. Такова позиция Ахматовой и нового поколения русских поэтов. Анна объясняет это нервному художнику. Предыдущее поколение, игравшее в оккультизм, себя иссушило и в итоге совершенно потерялось. Произведение искусства может родиться лишь от физического, а не только эмоционального контакта со Вселенной.

Анна подносит ладони в перчатках к пылающим щекам – противоречить мужчине, которым восторгаешься больше всех на свете, не так легко. Она слышит собственный голос словно в громкоговоритель: «Художник должен ухватить реальность идеальным движением звука, линии…»

Моди снова берет Анну за руку. Ему нравится, что она с ним откровенна. Прямота. Не все женщины на нее способны. В Ахматовой нет ничего такого, что, как правило, делает человеческую компанию невыносимой. Она искренняя и естественная.

* * *

Не говорить о любви с тем, кто ее дарит; не говорить о любви с единственным человеком, способным унять вашу тревогу, сжав вашу руку в своей, – идеальная тактика для того, кто боится разочарований. Как долго она работает?

* * *

Пакт целомудрия. Сколько он будет в силе? Капитулирует ли

одна из сторон? Если да, то где, когда, как? Мы ничего не знаем об этом. Даже если воображаемая нами ночь имела место, из нее не родились слова – ни единого слова. Если сакраментальный обмен запахами, дыханием, слюной, живыми клетками состоялся, то не на страницах дневников, писем или тетрадей. Кодекс прекрасной свободы, торжественной младенческой наготы нигде не был прописан.

В 1958 году у себя в комнате в Болшево, куда Анна взяла с собой один из драгоценных рисунков Модильяни, на который посетители пялились как на святыню, Ахматова провела рентгенографию своей памяти и сделала следующее заключение: смотреть в прошлое – преступление, которое не стоит совершать под фанфары и особенно при свидетелях.

Требовалась жесткая самоцензура. Страшное калечение. Соглашаясь на него, Анна Ахматова проявляла невиданную храбрость. Героическая женщина, которой гордились читатели. Героическая? И вправду? Она просто смогла выкрутиться и выжить, вот и все. Анна думала о настоящих героях: о Гумилеве, слишком гордом, чтобы пойти на сделку с совестью; о Мандельштаме, жертве собственной абсурдной жизнерадостности; о всеми покинутой Цветаевой, которая выбрала смерть, и не нашлось никого, кто бы протянул руку помощи, образумил бы поэтессу. Ахматова думала о своем сыне, долгое время пребывавшем в ГУЛАГе как враг народа. Слишком любимый, недостаточно любимый, недостаточно любящий, «мой сын, мой страх», – говорила она. Ссылка Лёвы в ГУЛАГ погрузила Анну в невыносимую тоску. Ей до сих пор снился кошмар: «они» стоят в коридоре, где Гумилеву предъявляют мандат и спрашивают, где он. Анна знает, что Коля, ее муж, притаился в комнате – последняя дверь по коридору налево. «Они» нервничают, тогда Анна отодвигает занавеску и будит сына, толкает его к чекистам: «Вот Гумилев». В кошмарном сне Колю не расстреливают. Кого из двоих Гумилевых «они» арестовали, Анна не знает.

В ужасе она просыпается, понимая, что сдала собственного сына.

За смертью Сталина пятого марта 1953 года последовали массовые освобождения. Льва Николаевича Гумилева отпустили только в мае 1956 года – он считал, что еще тремя годами расплачивается за безответственное поведение матери. «Эгоистичный монстр» – так он ее описывал. Выражение глубокой любви, рассказы о том, какие усилия, впрочем, напрасные, Ахматова приложила, чтобы вызволить сына из ада, не производили на него никакого впечатления. «Я злопамятен», –

отвечал молодой человек, когда его обвиняли в жестокости.

А вдруг он был прав? И она – эгоистичный монстр…

В своей комнате в Болшево, куда запахи внешнего мира врывались лишь по утрам, когда уборщицы с тряпками в руках открывали окна, выходившие на опушку соснового бора, поэтесса проклинает свои оплошности, свою осторожность и целомудрие. Писать о Модильяни – больно, сложно и все-таки необходимо. Модильяни был убит дважды – нищетой и легендой. Необходимо разрушить саркофаг сокровенных мыслей. Амедео ненавидел границы, рамки, запреты. Он не принадлежал ни к какой школе, никогда не подписывал манифестов и не следовал правилам. Он везде задыхался, даже в Люксембургском саду.

Часто он хватался за воротничок рубашки, словно желая разорвать его и вздохнуть полной грудью.

– *Сматываемся отсюда!*

Отныне запертая в комнате в Болшево, каждый день мечтающая увидеть своего так сильно, но недостаточно любимого друга, Анна вонзает в себя нож воспоминаний.

Их первая размолвка на предмет женщин. Во время прогулки по бульвару Распай, который Модильяни ценил за атмосферу некоего триумфа, художник сказал, что женщины привлекательны лишь без одежды, а в платьях всегда фальшивы и неуклюжи.

Он любил дразнить Анну. Брала ли она реванш? Да, оставляла художника на пару дней без единой весточки – скорее, для того чтобы проверить собственные чувства, а не ранить его. В любви каждый всегда стремится доминировать.

Иногда вечерами дистанция между Ахматовой и Модильяни ощущалась довольно сильно. Он курил гашиш. Она сидела рядом. «Будь мила и добра», – шептал он полуосознанно. Что именно он хотел сказать? Чего вообще хотят мужчины, разговаривающие с женщинами из положения лежа?

Анна не могла быть с Модильяни милой.

Она ни с кем не была милой.

Первая заговорщическая улыбка. Первое невольное соприкосновение пальцев. Прогулка вокруг Сакре-Кёр, безумная потребность в его объятиях, усилия, прилагаемые, чтобы скрыть чувства. Кто теперь вспомнит и взлелеет эти воспоминания, кроме нее?

* * *

В своей комнате в Болшево, быть может, в последней комнате в ее жизни, поэтесса продолжает ворошить прошлое. Ее время на

земле заканчивается. Жизнь, полная испытаний. Желала ли она когда-то другой жизни? Менее болезненной, но не озаренной встречей с Модильяни? «Никогда», – думает Ахматова, вспоминая вдохновенное июньское утро, когда, раззадоренная собственной храбростью, поэтесса купила у бродячей торговки на бульваре Распай охапку роз. Красных, крепких, пушистых на ощупь. «Прекрасный букет, чтобы восхитить его», – надеялась Анна. Однако в сите Фальгьер дверь Амедео была заперта.

Ахматова берет ручку. Та почти не пишет. Поэтесса возвращается к карандашу.

Отдать должное – почтение, справедливость. Кому? Чему? Художнику, чьи картины теперь висят в самых известных музеях мира? Влюбленной девушке, воспринимавшей свое чувство как должное? Самой любви?

«Окно его комнаты над дверью оставалось открытым, и я не придумала ничего более умного, кроме как забросить цветы в окно мастерской. Я сразу ушла, не дожидаясь возвращения Амедео. Когда мы встретились, он сказал, что очень удивился: как я могла проникнуть в его комнату, если он запер ее на ключ? Я все объяснила. «Это невозможно! – воскликнул он. – Цветы слишком аккуратно смотрелись».

* * *

Приходит время расставаться. Она ли себя в этом убеждает? Или он? Кто на кого давит? Каким образом? Его постоянная потребность в новых впечатлениях, страх потерпеть крах, разрушительный страх, губительный даже для творчества. Ее невыносимая серьезность. Страх сделать все неправильно, сделать больно. Дурная женщина. Неудавшийся скульптор. Каждый вонзает в себя свой нож. Любовь. Вибрирует ли она до сих пор в бесконечных скобках тишины? Любовь бессмертна. Любовь постоянно перерождается. Обычно так говорят, когда теряют любовь.

Умирать. Перерождаться.

Иногда перерождение – это уход.

«С чувством вины и волнения я купила билет на поезд. В муках я покидала Россию и в муках туда вернусь. Скажи одно слово, и я не уеду».

Может быть, Модильяни в этот момент закуривает сигарету.

В беззвездном небе большого города Анна ищет оракула. Она старается не смотреть на скульптуры, аккуратно составленные полукругом у дальней стены, тем не менее работы, которую

Модильяни сто раз начинал и сто раз бросал, взгляд Анны миновать не может: строгая светлая голова, близняшка из известняка – Ахматова созерцает ее с восхищением и в этот вечер – с тревогой. Поэтесса видит уже не голову богини или царицы, в которой раньше с улыбкой узнавала свой невыносимый профиль; не просто красивую скульптуру, предмет искусства, нет, теперь эта живая и одновременно мертвая голова – совершенно неповторима, она – вещь в себе.

Анна страдает, чувствует что-то новое, все понимает, и понимание причиняет боль. Модильяни получил от Ахматовой то, что хотел. Теперь она может уезжать. Теперь эта удивительная скульптура существует сама по себе, она переживет поэтессу, переживет художника, переживет их обоих.

* * *

В середине июля Анна собирает чемодан. Было бы интересно стать свидетелем последней ночной прогулки вокруг Сакре-Кёр, проследить их маршрут до Восточного вокзала, взглянуть на Модильяни и Ахматову, прижавшихся друг к другу на заднем сиденье запряженного лошадьми омнибуса и глядящих на Париж словно с движущегося балкона. Покидать Париж на долгие годы – кошмар, от которого мы избавлены. Прощание на эспланаде вокзала, слова благодарности, обращенные к водителям фиакров, – было бы хорошо обо всем этом здесь поведать, но, увы, Ахматова не написала ни об обстоятельствах, ни о причинах своего отъезда ни строчки. Есть лишь дата – 14 июля 1911-го – тогда Анна еще была в Париже, но уже на чемоданах.

* * *

Две недели спустя она присутствует на приеме, организованном на пленэре другом Гумилева, Владимиром Кузьминым-Караваевым, юристом, чья усадьба располагалась в нескольких верстах от резиденции госпожи Гумилевой в Слепнево в Тверской губернии. Анна отправляется туда сразу по возвращении из Парижа.

Когда на вокзале Анну узнает старая горбунья, давным-давно прислуживающая у Гумилевых, она тут же разносит по округе весть: француженка в элегантной шляпке с черной ленточкой возвращается домой к господам. Кажется ли путешественнице, что у свекрови она скорее забудет Париж? Забыть Париж и себя в

Париже – такова цель Ахматовой. Заняться шитьем, садоводством, популярным в России собиранием грибов: груздей, сыроежек, белых, подберезовиков. Стереть из памяти очертания силуэта, во всех отношениях чрезмерного для здешних мест. «Моя феерическая худоба», – сказала бы она. «Вам надо поправиться, мой птенчик», – слышит Анна. А за ужином у свекрови ее сосед за столом, заседающий в земстве, спрашивает, не мерзнет ли поэтесса в России после Египта. Какого еще Египта? Тут Анна узнает о том, что дома ее прозвали «лондонской мумией».

Пятнадцатого июля по русскому календарю[58] Владимир Кузьмин-Караваев принимает гостей в своих владениях, включающих реку, вышку для прыжков в воду и теннисный корт. Коля хочет воспользоваться случаем и представить широкому кругу знакомых ту, которую именует молодой супругой. В словах автора «Кенгуру» всегда одновременно слышится и нежность, и легкая ирония. Профессора, жены профессоров, эрудиты-провинциалы – все приветствуют Анну, облаченную в летнее светлое платье. Коля указывает Анне дорогу – под тенистым сводом дрожащей березовой листвы до террасы, где аромат хвои царствует над всеми цветочными запахами, и, наконец, до самой гостиной. Появление Анны под руку с мужем заставляет гостей смолкнуть. Гумилев заранее спланировал эффектный выход – почти как в танце. Теперь завистники могут источать яд сколько угодно. Анна вернулась, Анна отказалась от Парижа, остальное не так уж и важно…

Прошлое? В прошлом. Будущее? Тайна. Настоящее? Подарок! Давайте танцевать, пить, есть, простим кокеткам, мученикам, мучительницам их слабости, завтра мы все всё равно умрем!

В этот летний день Гумилев обуздывает свои эмоции и предстает перед обществом как победитель. Он фанфаронит, нейтрализуя насмешников и навязчивых утешительниц. Гумилев должен всем доказать, что совершенно не похож на рогоносца из дешевой комедии и при любых обстоятельствах сохраняет чувство собственного достоинства, ведь он – большой поэт. Из нескольких стульев и, может быть, пары занавесок он сооружает подобие сцены и, твердо стоя на мускулистых от верховой езды ногах, глядя на публику чуть отстраненно, как того требует случай, Гумилев выбирает несколько стихотворений, затем отвоевывает свое величие. Один из гостей вспомнит о том, каким насмешливым, почти издевательским тоном, на французский манер, как говорят русские, Гумилев декламировал одно из своих новых стихотворений.

Из логова змиева,

Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал – забавницу,
Гадал – своенравницу,
Веселую птицу-певунью.

Покликаешь – морщится,
Обнимаешь – топорщится,
А выйдет луна – затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, – и хочет топиться[59].

Анна держится в стороне. Она невозмутима. Она научилась владеть собой еще лучше, чем прежде, она менялась, и этот процесс был болезненным, каким всегда бывает рост личности. Полуулыбка на губах – очевидный признак зрелости, закалки, прощания с юношеским максимализмом, который ни к чему не привел.

Что нужно зрелости? Нежность, признание, покой. Покой? Неужели Анна его никогда не знала? У подножия Сакре-Кёр, быть может. Зрелости не нужны розовые очки.

Анна смотрит на поэта, оставшегося ее мужем. Он прекрасный актер, когда захочет. Главное – не говорить ему об этом. Говорить ему все меньше и меньше. Спокойствие! Спокойствие! Ее светлое платье – флаг спокойствия. Белый цвет – цвет траура в Японии, она об этом читала.

Теперь надо издать первую книгу. «Лебеда». Коле не нравится название, но Анна настаивает. Она уже знает, какое стихотворение откроет сборник:

Я на солнечном восходе
Про любовь пою (…)[60]

Она и эпиграф уже придумала – две строчки из Андре Терье, издателя Марии Башкирцевой:

Распускается цветок винограда,
А мне сегодня вечером исполняется двадцать лет.

Двадцатилетие, впрочем, позади. Время поджимает, Анна это чувствует, ближайшие годы определят ее литературную судьбу. В

темном деле Черубины де Габриак было кое-что положительное: мистификация показала, что в русской поэзии еще есть свободное место для женщины. Анна должна его занять. Писать, читать стихи перед публикой, приучать людей к своему голосу, к своему присутствию. Сделаться незаменимой, уникальной – не только в «Башне», но и в других местах: в салонах, в театрах, в библиотеках, где скромная молодежь воспевает книгу, будто магический объект. Только бы ее имя расцвело на обложке, только бы зажглась на небосводе ее звезда, только бы ее читали в Петербурге, в Москве, на Урале! А там – поглядим.

Анна покидает террасу, стараясь не задеть платьем о старую скамейку. Замечает ли Коля ее исчезновение? В любом случае он не шелохнется. На кого он был бы похож, если бы бросился догонять жену! Вот бы утонуть в цветах, взявшись за руки, – детское полубезумие, ребячество, вызванное волной эмоций. Анна нашептывает недавно сочиненные стихи:

> И мальчик, что играет на волынке,
> И девочка, что свой плетет венок,
> И две в лесу скрестившихся тропинки,
> И в дальнем поле дальний огонек (…)[61]

Мужчины всегда переманивают удачу на свою сторону. Как им это удается? Почему у женщин это так скверно выходит?

Я стану поэтом. Обещание, данное самой себе, отзывается такой радостью в груди, словно рой бабочек вылетает из темного ущелья. Анна бредет к озеру, вокруг колосится рожь. Осы летят к своей мечте – розовому кусту. Слышится глухой звук теннисных мячей, ударяющихся о сетку. Смех со стороны вышки. Ничто не беспокоит Анну. Окружающий мир словно перестает существовать. В сердце пылает огонь Парижа.

«В Слепнево я не ездила верхом, не играла в теннис, только ходила за грибами, а за моей спиной в глубоких сумерках сиял вечный Париж».

Надежда

Вечером 17 июня 1965 года Анна Ахматова протягивает свой советский паспорт портье в отеле «Наполеон» на улице Фридланд в Париже. Поэтессу сопровождают Анна Каминская, племянница мужа, и английская студентка. Ахматова предпочла бы отправиться в путешествие в одиночестве, но ей запретили. Кардиолог, спасший ее от инфаркта в 1951 году, выразился недвусмысленно: либо медленная осторожная жизнь, либо смерть. Ничего не поделаешь: стихи надо было писать, как прежде, не тратя времени даром, а шиповник в Подмосковье всегда подсказывал хорошие рифмы, так что Ахматова согласилась на смирительную рубашку осторожности.

Анна действительно нуждается в посторонней помощи. Одной ей не справиться.

Зависеть от доброй воли и благосклонности окружающих довольно унизительно, однако поэтесса предъявляет свою немощь в любопытном свете: отныне, кто бы ни протянул руку помощи, трость или лекарство старой больной сердечнице, этот человек становится причастным к великой истории русской поэзии! Гениально! Ахматова постепенно становится памятником. Столь желанная слава… Поэтесса облачается в нее, будто в камзол, расшитый драгоценными камнями, камзол, ради которого Анна пошла в жизни на все. Камзол сверкает и переливается, но, Боже милостивый, как он тяжел!

Первый залп восторга послышался из Италии: девятого декабря 1964 года на Сицилии Ахматова получила международную премию Этна-Таормина. Мать Анны Каминской, Ирина Пунина, родившаяся в 1921 году от первого брака Николая Пунина, сопровождает Ахматову. Это ее первая поездка на Запад. Сначала Рим. Ахматова хочет показать спутнице улицу Аппиа, могилу Рафаэля в Пантеоне, кафе «Греко», где за маленькими мраморными столиками некогда сиживали Байрон, Китс и Шелли. Впрочем, чувства у Ахматовой смешанные. Она больше не узнает античный благородный город, по которому мысленно гуляла, когда в комнате на Фонтанке переводила Вергилия. Рим ее мечты куда-то пропал. Реальный Рим кажется ей враждебным. Накануне отъезда в Катанию Анне нужен чемодан. Демонстрируя прочность выбранной модели, продавец запрыгивает прямо на крышку. Старость – состояние, когда человек не выносит уродства и глупости.

Врач из советского посольства, у которого Анна консультируется перед Сицилией, успокаивает ее: если вести себя

благоразумно, все пройдет хорошо. Тревога тем не менее не отступает. В поезде, который несется к Югу, вид Везувия над Неаполитанским заливом не вызывает у Анны никаких эмоций, она чувствует себя сломленной.

В Катании ее принимают по-царски. Ей бы радоваться, но она напряжена. На коктейле в честь премии, затем на поэтическом вечере, посвященном Ахматовой в Таормине, поэтесса должна «держать лицо»: разговаривать, позировать фотографам, улыбаться, несмотря на то, что ноги распухли от жары и туфли давят, приветствовать незнакомцев, своих поклонников – все ради того, чтобы, оставшись одной, в постели, под простынями, такими свежими и мягкими, каких в России не бывало со времен Октябрьской революции, не в силах сомкнуть глаз, понять: слава превращает человека в обыкновенную вещь, принадлежащую всем одновременно.

В июне 1965 года в Оксфорде, получая мантию и почетный диплом honoris causa, Анна по-прежнему мрачна. Окружающие недоумевают. Где эмоции? Экскурсия в Стратфорд-на-Эйвоне, посещение дома, где родился Шекспир, несколько дней в Лондоне и встреча со старой подругой из Петербурга времен Серебряного века ничего не меняют, Ахматова словно где-то витает. Позже она призналась: «Единственное, чего я хотела, – отправиться в Париж».

* * *

«Париж, Париж», – шепчет поэтесса, стоя посреди комнаты, куда ее проводила француженка в полосатом переднике. «Вы в Париже, – подтверждает горничная, – откройте окно, узнаете Триумфальную арку?» Ахматова не удостаивает горделивый памятник взгляда – это не ее Париж, не Париж ее прошлого. Как высказать свое разочарование, чтобы его поняли? Ее сырой холодный Париж с черными стенами, похожими на страницы черновика, Париж тайных встреч под мостами и подвальными сводами, хаотичный Париж узких улочек, сумеречных и таинственных. Неужели тот Париж у Ахматовой украли? А мини-юбки, каких не носили нигде в мире, мокасины, бесформенные непромокаемые плащи? Во что превратились парижанки, чья элегантность день за днем заставляла Анну чистить собственный гардероб?

Надо было приехать одной. В одиночестве можно многое вытерпеть, можно позволить себе расслабиться, позволить ранам кровоточить. Но племянницу и студентку некуда девать,

существуют обязанности, а самое страшное – вокруг полным-полно призраков прошлого. Эмигрантов, «белых русских», как их называют местные, здесь больше, чем в Лондоне: неузнаваемые друзья, больные и бредящие воспоминаниями; надежды вчерашнего дня, ставшие горькими разочарованиями; безвозвратно потерянная молодость; бывшие красавицы и красавцы, на которых вблизи страшно посмотреть. И всем не терпится почтить героиню-поэтессу, узреть на ее некогда восхитительном лице следы страданий, утрат и борьбы. Глаза слезятся, руки дрожат, из горла рвутся стенания. Ахматова взволнована. Каждый видит ее трагедию по-своему. Впрочем, Анна отвечает на все вопросы, улыбается. Еще немного чаю, дорогой друг?

Мы – потерянное поколение, лирическое поколение!

Призрак, с которым Ахматова так хотела бы встретиться, остается в тени.

Чая больше нет. Чашки опустели. И ради Бога – никаких визитов до завтра.

– Пускай мне вызовут такси!

Анну берут под руки.

– В вашем состоянии уставать вредно.

Сколько беспокойства и суеты из-за ерунды! Анна вырывается и хватает пальто.

– Анна Андреевна, куда вы собрались?

«Навещу свою молодость» – вот, пожалуй, наиболее точный ответ. Люди боятся чепухи, и этот страх формирует их судьбы или мешает судьбам сформироваться. «Я не выйду из такси», – уверяет Ахматова. Это не обещание, в ее возрасте обещаний не дают.

На Монпарнас? На Монмартр? К маленьким улочкам за Пантеоном? К мастерским в сите Фальгьер? Молодость – где она прячется?

– Поехали, – говорит Ахматова по-французски.

Чего она действительно хочет? Не ради паломничества ведь она приехала. Но она читала, что его могила находится на кладбище Пер-Лашез, где похоронены все знаменитости; у Оскара Уайльда там целый мавзолей. Отправиться туда – последнее дело. Смерть. Модильяни никогда не придавал ей значения, любой настоящий творец – художник, скульптор, писатель, композитор – своими произведениями показывает смерти кукиш.

Так чего же Ахматова ждет от поездки? Она хочет поговорить с ним, хотя бы мысленно. Будем откровенны: смерть, конечно, не полностью уничтожает человека, но с ним нельзя вступить в контакт – даже в мечтах. Мечты становятся односторонними, а

диалоги превращаются в монологи. И все-таки Анна говорит с Модильяни, про себя, тихим голосом и, как раньше, сохраняя дистанцию.

На прежнем ли месте сите Фальгьер?

Водитель отвечает, что редко там бывает. Анна закрывает глаза и вспоминает мастерскую, увешанную рисунками, маленький дворик, кусочек неба и головы, составленные полукругом.

Рядом с Анной никого нет, так что убийца воспоминаний не расскажет ей, что стало со скульптурами, когда Модильяни покинул сите Фальгьер и перебрался в новую мастерскую на бульваре Распай. В 1913 году Осип Цадкин был потрясен, увидев на грязном дворе загадочную выставку полуразрушенных голов и скульптуру, перевернутую головой вниз, словно после нашествия грабителей.

На другом берегу Сены улицы становятся более узкими, извилистыми и крутыми. Анна выпрямляет спину – наконец-то перед ней тупики, ступеньки, дрожащие кроны деревьев, манящие островки тени за уличными фонарями. Ничто не изменилось. Ясность ума – кому она теперь нужна? Надо лишь оставаться честной перед собой, честной в своих мечтах. Теперь пора признаться, что в Париж Анна приехала ради иллюзорной встречи.

На кого был бы похож Модильяни спустя столько лет? На святого мученика, раздавленного славой? На озабоченного усталого художника в конце рабочего дня? Интересно, какой взгляд у него был, когда первый рисунок купили наконец за хорошие деньги? Взгляд хитреца? Мошенника? Возможно, Анна никогда не видела у Модильяни такого взгляда. Они так рано познакомились, их история закончилась, не начавшись.

Ахматова не осмеливается попросить водителя притормозить. Чего она боится?

Если бы Амедео вдруг появился перед Анной, произошло бы то же, что и всегда: они бы взялись за руки и двинулись вперед, радостно шагая в ногу и понимая друг друга без слов; они продолжили бы начатый диалог, эмоциональный и взволнованный, в котором высокие нотки спора внезапно сменялись бы мягкими интонациями, он перебивал бы Анну, сжимая ее руку, и превозносил бы судьбу, подарившую им счастье встречи под парижским небом, этим единственным в мире небом, подслушавшим обольстительный певучий голос: «Лишь вы можете это осуществить. Мы понимаем друг друга!»

notes

Примечания

1

Фонд Барнса в Мерионе, штат Пенсильвания, музей Соломона Гуггенхайма и Нью-Йоркский музей современного искусства, Художественный музей Филадельфии, Институт искусств Миннеаполиса, Музей искусств Фогга Гарвардского университета, галерея Тейт в Лондоне, Государственный художественный музей Карлсруэ в Германии, Национальная галерея Австралии в Канберре, Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже, Музей современного искусства метрополии Лилля в парке Вильнёв-д'Аск. – *Прим. авт.*

2

Стихотворение А. Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью…» (1911). *Здесь и далее, если не указано иное, прим. перев.*

3

Во Франции второй половины XIX века некоторые молочные лавки превратились в дешевые закусочные для простого люда. Помимо молока и сыра, там подавали яйца, рис, супы, мясо, вино и т. д.

4

Традиционное блюдо итальянской кухни – тушеная телячья голяшка.

5

Александр Кабанель (1823–1889) – французский художник, представитель академизма. Славу «первого живописца империи» ему принесли полотно «Рождение Венеры» и другие картины, в которых мифологический сюжет сочетался с эротикой.

6

Адольф Вильям Бугро (1825–1905) – французский живописец, крупный представитель салонного академизма. Писал картины на мифологические и библейские сюжеты.

7

Блез Сандрар (1887–1961) – швейцарский и французский писатель. Писал стихи в близкой авангардизму и кубизму стилистике.

8

Другое название – «Салон Независимых». Объединение художников, созданное в Париже 29 июля 1884 года.

9

Даниэль-Анри Канвейлер и Амбруаз Воллар – французские галеристы.

10

Картина Поля Сезанна (ок. 1890)

11

Анри Руссо (1844–1910) – французский художник-самоучка. Живописью начал заниматься уже в зрелом возрасте, не имея необходимого образования, долгое время работал на таможне.

12

Ангкор – область Камбоджи, которая была центром Кхмерской империи, процветавшей примерно с IX по XV век. Оттуда были вывезены выдающиеся памятники искусства.

13

Имеется в виду этнографический музей, открытый в 1878 году во дворце Трокадеро. На месте этого дворца сейчас находится дворец Шайо.

14

Константин Бранкузи (1876–1957) – французский скульптор румынского происхождения. Считается родоначальником абстракционизма в европейской скульптуре.

15

Имеется в виду реклама продукции Cadum, на которой изображен смеющийся розовощекий малыш внушительных размеров.

16

Валерия Мессалина (умерла в 48 г. н. э.) – третья жена римского императора Клавдия. Имя приобрело переносное значение из-за распутного поведения властолюбивой римлянки.

17

Профессор, знаток (*ит.*).

18

Самый широкий и ближайший к Венеции остров.

19

Эмпедокл (ок. 490 г. до н. э. – ок. 430 г. до н. э.) – древнегреческий философ. По легенде, предчувствуя смерть, бросился в жерло вулкана Этна.

20

Стихотворение Н. Гумилева (1918).

21

Имеется в виду сборник Шарля Бодлера «Цветы зла» (1857–1868).

22

Улица дю Буа – в переводе с французского улица Леса.

23

Платье с оборками в несколько слоев.

24

Широкая оборка, пришиваемая по линии талии к платью, блузе, жакету, юбке и даже к брюкам.

25

Из стихотворения А. Ахматовой «Вижу выцветший флаг над таможней…» (1913).

26

Хуан Грис (1887–1927) – испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма.

27

Жорж Брак (1882–1963) – французский художник, график, скульптор и декоратор. В начале творческого пути был близок к фовистам.

28

Квартал художников в 15-м округе Парижа. Назван по имени художника и скульптора Александра Фальгьера (1831–1900).

29

Хаим Соломонович Сутин (1893–1943) – французский художник белорусского происхождения. Учился в Академии изящных искусств в Париже.

30

Цугухару Фуджита (1886–1968) – французский живописец и график парижской школы.

31

Камилла Клодель (1864–1943) – французский скульптор и художник-график.

32

Луиза Мишель (1830–1905) – французская революционерка, учительница и писательница, пропагандировала анархизм и участвовала в демонстрациях парижских безработных.

33

Стихотворение П. Верлена «Сентиментальный разговор». Из книги «Галантные празднества» (1869). Перевод В. Брюсова.

34

Одноименный спектакль, поставленный по драме А. Доде с музыкой Ж. Бизе, в котором главная героиня на сцене не появляется.

35

Обри Бердслей (1872–1898) – художник-график, яркий представитель английского эстетизма и модерна конца XIX века.

36

«Видение Розы», или «Призрак Розы», – одноактный балет Михаила Фокина на музыку Карла Марии фон Вебера, созданный по мотивам стихотворения Теофиля Готье «Видение Розы».

37

Марсель Дюшан (1887–1968) – французский и американский художник, один из основателей дадаизма и сюрреализма.

38

Фернан Леже (1881–1955) – живописец и скульптор, мастер декоративного искусства.

39

Осип Цадкин (1890–1967) – французский скульптор, экспрессионист.

40

Сергей Иванович Шаршун (1888–1975) – русский писатель и художник. Окончив в 1912 году учебу в Париже, решил там остаться.

41

Макс Жакоб (1876–1944) – французский поэт и художник.

42

Jamais (*фр.*) – никогда. à jamais / pour toujours – навсегда.

43

Древнегреческий жрец, посвящавший в таинства во время мистерии.

44

Из стихотворения «Я пришла сюда, бездельница…» (1911). Сборник «Вечер».

45

Стихотворение «Первое возвращение» (1910). Сборник «Вечер».

46

Из стихотворения «Память о солнце в сердце слабеет…» (1911). Сборник «Вечер».

47

Поль Верлен. Заветный сон. Сборник «Сатурнические стихотворения» (1866). Перевод А. Кублицкой-Пиоттух.

48

Стихотворение «Дверь полуоткрыта…» (1911). Сборник «Вечер».

49

Стихотворение «Песня последней встречи» (1911). Сборник «Вечер».

50

Стихотворение «Муза ушла по дороге…» (1915). Сборник «Белая стая».

51

Цитата из статьи «О природе слова» (1921–1922).

52

А. Рембо. «Озарение». Перевод Н. Стрижевской.

53

Жан Ренуар (1894–1979) – французский кинорежиссер, самые известные картины которого созданы в рамках поэтического реализма.

54

Стихотворение П. Верлена «Родные маленькие руки…». Сборник «Мудрость» (1881). Перевод А. Ревича.

55

Граф Лотреамон (настоящее имя – Изидор Люсьен Дюкасс, 1846–1870) – французский прозаик и поэт, сочетавший в творчестве традиции позднего романтизма и зарождающихся символизма и сюрреализма.

Французские коллекционеры.

57

Джованни Беллини (ок. 1430 (1433) – 1516) – итальянский художник венецианской школы.

58

В 1911 году в России еще используется юлианский календарь, который на тринадцать дней отстает от европейского грегорианского календаря. – *Прим. авт.*

59

Стихотворение «Из логова змиева» (1911). Сборник «Чужое небо».

60

Стихотворение «Песенка» (1911). Сборник «Вечер».

61

Стихотворение «И мальчик…» (1911). Сборник «Вечер».